

В. К. Беляков

Крива



В. К. Беляков

Про

«Accent Graphics communications»

2015

Беляков В. К.

Про / В. К. Беляков — «Accent Graphics communications», 2015

Эта книга – воспоминания обыкновенного человека, написанные весьма в субъективной манере. Автору довелось пожить как в советский период времени, так и в новейшее время, и многое ему вспоминается в весьма мрачном, неприглядном виде. Возможно, кого-то это заденет или возмутит, но, в конце концов, каждый имеет право оценивать пережитое так, как он считает нужным. На страницах воспоминаний возникают картины детства и юности, предстают события самого позднего советского времени. Эта книга представляет интерес для тех, кто хочет узнать, каким может быть равнодушный взгляд на вещи, когда, кажется, всё является достаточно обыкновенным и обыденным, а на самом деле – страшным и обидным. Для самого широкого круга читателей, ставших уже достаточно взрослыми.

© Беляков В. К., 2015

© Accent Graphics
communications, 2015

Содержание

| | |
|-----------------------------------|----|
| От автора | 5 |
| Про | 6 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 34 |

В. К. Беляков

Про

От автора

С годами всё сильнее хотелось написать хоть какие-то воспоминания о той жизни, которая шла на моих глазах долгие годы и в которой некоторым людям даже удавалось уцелеть. Почему уцелеть? Потому что не всем удалось. Многие сломались, пошли на поклон господствующей в обществе системе и стали обычными прислужниками её. Так и не реализовав заложенных в каждом из нас талантов и способностей.

Такое было время. И мне всегда хотелось рассказать про ту жизнь, в которой мы вынуждены были существовать. Про её бедность и убогость. Про примитивную систему образования. Про идеологическую тиранию, которая окутывала каждого гражданина нашей страны, начиная, пожалуй, с детского сада. Всё это в совокупности оглушало и унижало, заставляло совершать постыдные поступки.

Так и родились эти воспоминания – ПРО всё про это, ПРО то, что было.

Конечно, перед вами не буквальные воспоминания, а несколько вольные, местами немного изменённые картины той жизни. За ними стоит вся та страшная, а местами нелепая правда, о которой и хотелось бы сказать. Да просто выкрикнуть хотя бы пару честных слов. За героями моих рассказов стоят вполне реальные люди, но, чтобы избежать излишних упреков, я изменил имена отдельных лиц. Впрочем, тот, кто был рядом со мной в разные периоды моей жизни, легко догадается, о ком идёт речь.

Про

Убожество окружающей жизни в те годы было полнейшим. Незрелость не имела конечного предела. Народились целые поколения, зомбированные системой, которым эта скотская жизнь даже нравилась, – они не представляли себе другой.

Я помню, как наш психованный директор школы Попенченко (его контузило в голову во время войны, и на него периодически накатывали немотивированные приступы ярости и гнева) гонял по коридорам несчастных словачек (у нас учились дети дипломатов из соцлагеря), у которых были юбки выше колена.

Шёл сентябрь 1968 года, только что мы ввели танки в Чехословакию, и произошла крутая замена всех чехословацких дипломатов и работников Совета экономической взаимопомощи – СЭВа. Заменяли чехов на словаков – почему-то наши правители считали, что словаки нам симпатизируют больше по сравнению с чехами.

И вот в нашей замечательной школе появились новые ученики и ученицы. В первых числах сентября они просто жались по стенкам – как потом признавались, они дико боялись, что страшные и гадкие русские их будут бить ежедневно. Мы же ничего не соображали по поводу августа 68-го и удивлялись их пепельно-серому виду. Но затем, поняв, что мы – беззлые идиоты, они осмелели и начали вести себя более раскованно. Не прошло и месяца, как вчерашние скромницы с большим удовольствием стали напяливать на себя европейские шмотки. А мы все ходили строем в нашей идиотской совковой школьной форме. Могу себе представить, какими уродами мы выглядели в их глазах.

Но недолго музыка играла! Наш славный Попенченко решил постоять за честь и славу Родины. И однажды мы услышали страшный ор в дальнем конце коридора, а скоро увидели мчащихся с хохотом злосчастных словачек, за которыми вприпрыжку бежал (редкое зрелище!) наш директор, брызгая слюной. На ходу он орал: «Чтоб немедленно возвращались домой и переоделись в приличные одежды! Ишь, распустились, понимаешь ли! Немедленно!» Мы подобный галоп обычно наблюдали, когда двоечник Ларионов гнался за подружками Зайнутдиновой и Лопахиной. Красивые были девчонки – любил Ларионов их полапать на виду у всех, и те обычно бегом спасались от него, удирая в женский туалет, чуть ли не на каждой перемене. А тут наш Попенченко и шестеро словачек! Может, у него то же выиграло, что у Ларионова?

Хотя, скорее всего, нашего бедного Попенченко подсознательно раздражало непозволительное для социализма чувство внутренней свободы и независимости, которым сплошь были заражены эти «отвратительные» словачки в совокупности с болгарками, венграмки, немцами и прочими демократами, волею случая занесёнными в нашу обычную среднюю школу. Он, Попенченко, должен был стоять насмерть, как на том последнем рубеже, на Курской дуге, где осколок вдарил ему в голову. И он стоял! Об этом он нам каждый раз повторял как заклинание, на каждом уроке истории, которые вёл. Не важно было, шла речь о древнем Киеве или о крестовых походах, наш славный Попенченко всё равно выривал на Курскую дугу и, потрясая огромными кулаками над головой, орал, вновь брызгая слюной, как мы сломали хребет фашистской гниде у Прохоровки, как он лично поджёг два танка, пока не трахнул его по башке тот вражеский осколок.

Это нас ужасно забавляло – ещё бы! Хоть одно небольшое регулярное развлечение среди полного идиотизма школьной жизни. И это для меня, зубрилы и липового отличника, тоже было забавным, пока одна из словачек, Яна Блиттерова, сидевшая со мной за одной партой, не потеряла терпения и не сказала шёпотом:

– А мой дядя на той Курской дуге подносил снаряды немцам, артиллеристам...

И она тут же испугалась своей смелой откровенности и замолкла до конца урока. А я, потрясённый, только мгновение спустя сообразил: да ведь именно тот снаряд и трахнул нашего

Попенченко по голове, отчего он и стал психопатом! Но погодите, а почему Янин дядя оказался на Курской дуге? Как же так? Или он был предателем? Пособником немцев? Я опасливо покосился на Яну (а Попенченко всё продолжал орать про своё солдатское мужество и советский героизм) – как же её папа, родственник предателя, смог проникнуть в СЭВ и работать здесь, в Советском Союзе?

Володя Топча, наш другой словацкий одноклассник, к которому мы все дружно ходили после уроков домой попить апельсинового сока, отнёсся к услышанному явно как к чему-то очевидному. (Попить у него апельсинового сока, между прочим, было всегда нашим заветным желанием – ничего подобного в наших вонючих магазинах тогда не продавалось, да и сами апельсины бывали строго только зимой при самых жутких очередях за ними. А его папа легко и свободно приносил сколько угодно бутылочек этого фантастического сока к себе домой из СЭВовского буфета. Представляю, правда, как он при этом всякий раз матерился, таская их домой ради этих воняющих и плохо подстриженных русских одноклассников сына. Но мы об этом додумались только годы спустя – когда до нас дошло, что он это делал неспроста, не ради своих домашних и милых семейных радостей, а для того, чтобы нас ублажить, идиотов, и тем самым помочь своему сыну учиться в этой долбаной советской школе, и чтоб мы хорошо и по-доброму относились к его сыну, Володе Топче, чтоб он не знал проблем в этой совковой школе. Впрочем, он, Володя Топча, и без сока был бесконечно мил – хотя бы потому, что легко и свободно давал нам послушать диски битлов, которых у него было навалом, или, на худой конец, Карела Гота, чешского соловья, гея, как лишь годы спустя мы прослышали. Или вдруг и сам Володя нам давал эти диски не бескорыстно, а по совету своего замечательного папы?.. А в общем-то, и в гомосексуализме Карела Гота, если таковой и имел место, тоже ничего особенного нет плохого. Ну, если ему нравятся больше мужчины, то это его личное дело, да бог с ним совсем! Ведь он всё равно поёт прекрасно!) Ну так вот, этот Володя Топча заливисто рассмеялся над нашим невежеством, щедро разливая по стаканам тот самый апельсиновый сок. Потом, отдышавшись, он с лёгкой улыбкой вымолвил (тут другой глагол даже не уместен!):

– Вообще-то, Словакия была союзником Гитлера в той войне, и наши войска в небольшом количестве сражались на стороне фашистов.

И как-то формально и тускло добавил:

– Мне очень жаль – это была большая ошибка тогдашних словацких политиков. Наша коммунистическая партия потом исправила эти ошибки, некоторых из этих людей повесив.

Вот это для нас всех было полным откровением, вот про это школьные учебники тогда ни слова не писали. Или не писали – для народных демократов в нашей школе это был трудный глагол, и они всё время путали отправление естественных надобностей с отправлением надобностей интеллектуальных. Мы сидели как в воду опущенные, словно нас всех обоср...ли с головы до ног, а мы и не заметили. Погодите! Так вчера с Гитлером, а сегодня с нами друзья не разлей вода, союзники по Варшавскому договору до гроба! А разве такое может быть? Было совершенно ничего не понятно, кроме того, что нам дали возможность вдоволь попить апельсинового сока за словацкий счёт.

На самом деле мы были нормальными ребятами. В душе мы понимали, что где-то есть другая жизнь, что есть даже другие школы, где учатся совсем другие люди. И я думаю, сами учителя были ни в чём не виноваты – они с пеной у рта и совершенно искренно отстаивали те взгляды и принципы, которые только и могли почерпнуть из своих жалких книжонок. Их никто не удосужился за всю жизнь познакомить с Божьим Откровением – и для них и для нас ср...ное обществоведение казалось вершиной гражданского права. Учительница этого дурацкого предмета Людмила Прокофьевна совершенно пламенным образом утверждала, что Церковь у нас отделена от государства только ради нашей пользы, и приводила на уроки каких-то педиков, совершенно взрослых людей, которые со сладчайшей улыбкой на устах рассказывали нам, как они учились в Духовной семинарии в Загорске (так город был переименован из

Сергиева Посада в честь какого-то большевика Загорского, погибшего на одном из заседаний московского комитета партии от брошенной в помещение бомбы. Бомбометатели думали, что уж сегодня-то на это заседание обязательно приедет Ленин, а он не приехал, и они попали в Загорского), и как там их учили каким-то совершенно мраковым предметам, глупость которых понятна даже ребёнку, и они отреклись от «Боженьки», и теперь стали лекторами общества «Знание», и разоблачают своими свидетельствами мракобесие Церкви... Мы смотрели на них с восторгом. Правда, за кадром оставалось, зачем они туда вообще полезли поперву, если потом всё равно отреклись. Но мы этим вопросом не задавались, а спрашивали, по каким же учебникам они учились, и они говорили, что по дореволюционным. И самым идиотским образом я спрашивал:

– А что, неужели у нас государство не разрешает на деньги Церкви издать Библию?

Но тут же вмешивалась Людмила Прокофьевна и говорила, что государство крайне редко разрешает это сделать, потому что и нужды нет, да и бумага нужна для издания школьных учебников. А тот педик согласно кивал головой и говорил, что последний раз Библию издавали ограниченным тиражом в 1947 году.

Спустя 10 лет, отслужив в армии, я зашёл в школу и торжественно предъявил постаревшей слегка Людмиле Прокофьевне увесистый том, изданный в 1979 году и скрытно купленный мною на церковном ящике в Риге. Я служил в Прибалтике в войсках ПВО. Но та совершенно не смутилась, заявив:

– Да ты что, Виктор, я такого никогда не говорила! Ясно дело, её издают по мере надобности, и купить её может всякий желающий, – теперь она в этом была убеждена, и голос её был твёрд. Моя бывшая учительница совершенно не давала возможности усомниться в каких-либо противоречиях своих текстов...

Между тем уже в восьмом классе мы столкнулись с потрясающим явлением: неожиданно в разгар учебного года стали пропадать одноклассницы. Ну, конечно, не по криминальным причинам, а вот так: училась, училась, была здорова как бык – и на тебе, вдруг уже не учится. Мы не понимали, в чём дело, – ведь вроде никто не собирался никуда переезжать, и где же теперь Люда? Но однажды пришёл улыбающийся Шамиль (сын дворничихи из соседнего двора) и поведал:

– Да куда она не переезжала – её просто Сашка из десятого «б» вы...б, вот наш замечательный педсовет и рекомендовал, чтоб родители её перевели от греха подальше в другую школу.

– А ты как это узнал? – уставились мы на него.

– Да ну вас! – он посмотрел на нас свысока. – Мы вчера с Сашкой у меня пили портвейн – никого же дома не было, а потом смотрели, как напротив Натаха с пятого этажа очередного своего привела. Ну, они поужинали вместе с её пятилетней дочкой, а потом она выпроводила дочку гулять на улицу, а сама, бухая, прямо на обеденном столе ноги раздвинула – ну и тот ей вставил три раза! Сашка ещё комментировал: «Ну, конечно, Людка наша послабее». А потом мы отдрочили вместе за неимением Людки! Главное, та коза даже дочку своей не стесняется – дочка-то уже понимает, зачем каждый вечер новый дядя приходит и в комнате после ужина больше не появляется.

Мы были потрясены.

– Ну а как же Людка не забеременела? – спросили мы наивно Шамиля.

– Да ну в баню! Сашка рассказывал, – это всё на дне рождения Кати Козловой было. Они там все перепились, да и родителей тоже не было. А Людка же запала на Сашку уже давно. Ей и стакана хватило, – продолжал Шамиль, – а потом он затащил её в соседнюю комнату, та и отдалась. А назавтра испугалась, родителям проболталась, дура. Но шёл только второй день. Они её потащили в какую-то больницу, там ей всё промыли, прочистили, и она – как новенькая! Только что не целка.

И мы даже не знали, верить или не верить, до тех пор, пока в девятом классе отличница Аня Крапивина, прямой кандидат на золотую медаль, вдруг неожиданно не стала прогуливать школу – учительница математики Мария Ильинична прямо у нас на глазах плакала в учительской. А вскоре всё прояснилось: Анька Крапивина в 15 лет выскочила замуж наперекор всему за скрипача из театра «Ромэн» – еврея с перекрашенной шевелюрой, а вскоре и сама стала там в оркестре играть на скрипке. И волосы тоже покрасила в рыжий цвет.

Но, вообще-то, мы не очень беспокоились по поводу своей нецелованности – предпочитали вести какие-то дурацкие разговоры со своими одноклассниками на темы любви и droчить скромно где-то в уголку. Мы не тревожились. В ходу была такая теория, что всё хорошо вовремя, и всё будет абсолютно чётко потом, когда придёт большая любовь. А пока нечего и лезть к своим одноклассникам. Вот мы, как придурки, и танцевали с ними, нежно и робко обнявшись на убогих школьных голубых огоньках, да ходили-бродили за ними до одури после уроков парами. Они парой идут, жрут мороженое на последние гривенники, и мы идём в десяти метрах за ними парой вместе с Мишкой Лоскутовым. А зачем идём, и почему они сразу домой не идут? А х...й его знает!

Да и откуда знанию-то взяться? Затраханность, задавленность. Ну, отдрочил разве что под вечер, и порядок. Последние два года в школе я с интересом смотрел на своих пахучих одноклассниц. Мне всё больше нравилось рыжее солнышко с огромными разводами на синем сарафане под мышками от пота, но я этих странностей не замечал. Меня волновали формы, округлости, резко наметившаяся грудь, случайно мелькнувшие из-под юбки трусики, кружавчики внезапно показавшейся комбинации. Я лип глазами ко всем этим подробностям. Могу сейчас представить себе, каково было нашим подругам от подобных бесстыдных взоров. Хотя наверняка им всё равно было чертовски приятно осознавать, что они даже меня, задрота, так волнуют, что кто-то мысленно хочет их раздеть... Потом на очередном уроке физкультуры Саша Манилин задумчиво сказал нам с Топчей:

– А вы знаете, малофья, она такого желтоватого цвета, липкая, тягучая, бр-р-р...

Нора Кропивницкая. Эта девочка производила в восьмом классе странное впечатление. Огромная копна волос. Серьёзное выражение лица, пристальный взгляд глаз, в которых вместе с тем отражались изначальная глупость и пустота. Еврейская девочка должна быть умненькой – видимо, ей всё время это внушали дома. Но куда девать глупышку? Старайся быть серьёзной! И Нора старалась. На всех фотографиях – лишь тень мимолётной улыбки и пустые глаза, уставившиеся на фотографа. И всё-таки она была очаровательна. В ней был избыток женского обаяния, вовсе не свойственный всем остальным гусеницам класса, из которых ещё ой как не скоро получатся бабочки. А Нора была в пяти минутах от элегантного красивого махаона. Она это чувствовала, а при таких ощущениях нужны ли дурацкая тригонометрия или химия? Пожалуй, она стала первой, кто начал робко душиться, приходя на наши дурацкие танцы. Её духи... О, это уже была фемина...

И она носила чулки. Не колготки там какие-то трикотажные, а именно чулки на самых настоящих резинках. Это легко обнаруживалось, стоило лишь согласиться с ней поговорить о любви. Она любила поболтать об этом после уроков, сев верхом на парту.

– Ну, расскажи, как ты это понимаешь? – допытывалась она, стараясь изо всех сил натянуть юбку. А ты в это время начинал нести ахинею и смотрел на её коленки. В какой-то момент юбка предательски раскрывалась, и становились заметны чёрные трусики и резинки, прихватывающие чулки.

А Нора распалась, её захватывал дурацкий разговор и сама тема, и она не замечала, чего же на самом деле ищет твой взгляд прожжённого вуайериста.

– А ты мог бы любить сразу двоих? А что ты будешь делать, если девушка тебя разлюбит, а твоё чувство ещё будет сильно?

На уроке, если она сидела с краю, ей всё время приходилось натягивать слишком короткую юбку, из которой она безнадежно выросла, поскольку та была прошлогодней. Иначе показывались предательские края чулков. И ты беззастенчиво пялился и ловил этот момент. И она это замечала и снова начинала тянуть юбку. Но не переставала носить чулки – это же так красиво! А в девятом классе она пропала, и Марек из параллельного «а» класса был безутешен – родители безжалостно увезли её в Израиль, где, наверное, это бесконечно рыжее обаяние досталось какому-нибудь кобелю с длинным х...ем. А какой ещё может быть судьба глупышки?

Вообще-то, я рос обычным комнатным растением в нищей семье советских инженеров, имевшей претензию на интеллигентность. В одной двадцатиметровой комнате я был с папой-мамой, бабушкой-дедушкой, а за стенкой помещалась семья соседа-милиционера, в которой евояная мама (по мне, тогдашнему, невообразимая старуха) играла целыми днями на каком-то немецком пианино (я только сейчас догадываюсь, что милиционеров папа притаранил его с войны из Германии) с бронзовыми подсвечниками в форме человеческих рук – и эти руки держали настоящие свечи. Я умирал от смеха! И самым загадочным предметом в нашей комнате была ширма, которую можно было поставить то у моей кровати, то у папа-мамино дивана, а то и у бабушки-бабушкиной кровати. Зачем, я, убей меня бог, понять не мог! Дедушке моему было уже 80 лет, и он постоянно рассказывал, как вернулся с империалистской войны полным георгиевским кавалером, да вот только пропойца-активист Васька из комбеда как увидел его с крестами на деревенской площади (а было это уже в 22-м, когда дед чуть ли не из последних вернулся с германского плена – к этому моменту я уже ни черта не понимал из всех тех материй, что нёс мой дед), так подошёл, взялся за кресты и сдёрнул их с дедовой гимнастёрки, и бросил их в грязь под ноги, ни слова не говоря, а мой дед засс...л, заробел, испугался, побоялся те кресты поднять и так и пошёл молча к себе домой, где пролил горячие слёзы. Вот поэтому – тут дед поднимал голос и начинал потрясать клюкой в воздухе – он через семь лет решил с новой молодой женой бежать из этого драного колхоза, бросив всё, и устроился в Москве дворником на автозаводе имени Сталина, утаив, что он грамотный, и проработал там всю оставшуюся жизнь. За что директор Лихачёв дал их семье комнату в бараке на Сосенской, а до этого они мыкались с моей бабушкой в каком-то общежитии с тараканами и клопами. Тут я подсовывал ему газету «Правда», которую доставал, возвращаясь домой, из почтового ящика, и дед, увидев на первой странице очередное фото Никиты Сергеевича Хрущёва, начинал плевать в это фото, орать нечленораздельные слова и бить по газете клюкой.

Утихомирившись минут через десять, дед обессиленно ложился на кровать и отворачивался к стене, а я садился к мёртвому телевизору, включал его и, глядя на циферблат часов на экране, начинал ждать начала любых телепередач – в 18.00, я это точно знал – с десятиминутного мультфильма. Приходил же я из школы в пять часов вечера, потому что наша школа была школой продлённого дня...

А потом появлялись братья Тузовы, мультфильм уже заканчивался, и начиналась совсем другая жизнь! Я бежал этажом ниже в их коммунальную квартиру, а потом мы сбегали вниз шляться по улицам, иногда до самого позднего поздна. Впрочем, если шёл дождь или было жутко холодно, мы оставались у Тузовых (пока не возвращался с работы вечно пьяный их папа в шляпе – он работал в каком-то конструкторском бюро всё на том же заводе Лихачёва и, как говорил в минуту откровения, не мог не пить – так было надо!), и тогда старший Витька выманивал пятилетнюю соседскую Лариску из её комнаты, и они вдвоём с братом Вовкой открывали дверцу шкафа, чтоб не было видно, и начинали эту Лариску серьёзно и тщательно лапать. А та, дура, не понимала, что происходит, и Витька для отвода глаз всё бормотал:

– Да погоди, Лариска, сейчас вот Вовка тебе кое-что покажет, а пока нам надо здесь спрятаться... Вот осторожно! Сейчас он из кухни кое-что принесёт... Прячься, там кто-то есть!

- Где? – наивно и нетерпеливо спрашивала Лариска, вырываясь из Витькиных рук.
- Да вот сейчас, погоди!..

Мне всё это дело надоедало, и я уходил в их комнату смотреть телевизор, а из коридора всё продолжали доноситься какие-то похохатывания и Ларискины вскрики...

Впрочем, братья Тузовы были замечательные ребята. Это с ними я первый раз в жизни, сорвав замок с чердака, вылез на покатуую крышу нашего дома и вместе с ними начал азартно кататься по заснеженной скользкой железной крыше, стучаясь изо всех сил в жалкое ограждение края. Мне и в голову не приходило, что эта хлипкая решётка может оторваться, и мы легко и просто сиганём вниз, не успев даже крикнуть «Мама!» Это с ними я среди вонючих гаражей и одурманивающе пахших гнилой картошкой овощехранилищ додумался собирать пустые бутылки и относить их рядом живущему в бараке дяде Васе. А потом мы дружно шли вдоль корпусов завода и гордо жрали дорогое мороженое – а ведь иначе его не на что было бы купить!

Пустых бутылок было, между прочим, море. Чуть ли не каждый божий день, а особенно пятого и двадцатого (никто из нас не понимал всей загадочной магии этих чисел), толпа мрачных мужиков валила по Ленинской Слободе из заводской проходной к нашему ср...ному подвальному продовольственному магазину и стремительно затаривалась бутылками перцовки (перцовка была дешевле водки). Затем мужики аккуратно разбивались по трое и, по-детски прячась за овощехранилищами, начинали глушить эту перцовку, закусывая её ароматным чёрным хлебом. Всё удовольствие продолжалось от силы пятнадцать минут. Его прелести я, срази меня бог, никак не мог понять, хотя братья Тузовы однажды, посмеиваясь, и дали мне попробовать той перцовки из недопитых бутылок (они сцедили для этого по капле, наверное, штук тридцать) – отвратительная жгучая и вонючая дрянь! Вот и всё было моё впечатление.

Эта жизнь на Ленинской Слободе была какой-то пародией на счастливое детство. Мама и папа непрерывно работали, и я с раннего детства оставался дома наедине с полусумасшедшим дедушкой, вечно плачущей бабушкой и соседом-милиционером, который периодически зазывал меня к себе в комнату и показывал то новую бензиновую зажигалку, то новую шариковую ручку – зачем, я тогда понять не мог.

Изредка я с дедушкой-бабушкой выходил во двор погулять. Двор был огромен, формально это был стадион расположенного под окном автомеханического техникума при всё том же заводе Лихачёва – на самом деле, кроме деревянных скамеек по бокам, на нём больше ничего не было. Зимой я даже учился в этом дворе кататься на лыжах, иногда мы ходили на близлежащий стадион «Торпедо», где меня пытались научить стоять на ненавистных коньках (стадион зимой превращался в каток). Осенью в нашем дворе начиналось столпотворение – появлялись странные молодые люди в одежде, явно вышедшей из моды лет 20 назад, и их мамы в специфических дамских пиджаках, называвшихся «бархотками». Все молодые люди на вопрос, откуда они, говорили: «Мы из дярёвни». Вот именно так: не из деревни, а именно из дярёвни! Тузовы, сидевшие рядом с парнями на скамейке, хохотали до изнеможения, а парни злились и не понимали, почему эти десятилетние шкеты смеются над ними, такими сильными и красивыми, приехавшими поступать в этот треклятый автомеханический техникум.

В 1957 году в Москве случился Международный фестиваль молодёжи и студентов. Мы с мамой тихо-мирно сидели дома среди бодро звенящих рюмок и чашек в буфете, как внезапно кто-то крикнул, что на завод приехала бразильская делегация. Офонареть! Бразильцы! Вот тут, рядом, двести метров по прямой. Мама бросила всё, подхватила меня, трёхлетнего, на руки, и мы помчались к проходной. Думаю, мама даже не осознавала, что бежит со здоровенной тяжестью на руках.

Мы подбежали к небольшой толпе как раз вовремя – с завода выходили счастливые смуглые люди, мы таких ещё в жизни не видели. О, да они, оказывается, другие, точно другие. В моей памяти сохранились только визуальные образы. Да и что ещё могло сохраниться? Я

отчётливо помню, что смотрю на этих смущающихся людей с высоты держащих меня маминых рук. К тому же наверняка в задаче гэбэшного переводчика или переводчицы было как можно быстрее увести этих бразильцев от неподготовленного общения с какими-то заскорузлыми советскими людьми. Переводить он, разумеется, ничего не желал, а мы тем более не знали португальского. Тут ещё и ребёнок, которого сумасшедшая мамаша зачем-то принесла с собой, протягивает свои грязные ручонки.

Да, я помню, так, наверное, и было, потому что один из смуглых людей посмотрел на меня, рассмеялся, достал из внутреннего кармана пиджака бумажник и вручил мне какую-то мятую цветную бумажку с изображением грозного усатого господина при эполетах. Три круэйро – настоящие! Я понял, что это деньги, только когда уже пошёл в школу – мама-то поняла сразу, но она не пыталась даже узнать их реальную стоимость. Для нашей семьи это была бесценная реликвия, удивительный подарок, источник семейных преданий. Который хранился бесконечно долго, пока совсем недавно не пропал из виду.

До сих пор я смутно помню лицо дедушки, когда он меня, трёхлетнего, возил по двору на детской коляске. Помню бабушкины трусы с дырочкой посередине, которые я разглядываю из-под стола, задрав голову, – я залез под стол прямо посередине обеда – и удивляюсь, что её трусы под широкой длинной чёрной юбкой отличаются от папиных или дедушкиных. Помню, как мне всё та же родная бабушка обварила шами сзади шею, пронося мимо стола огромную кастрюлю с кухни. Она только слегка плеснула, но от страшной боли я тут же заорал, и все заорали. Мама меня тут же подхватила, и мы с ней помчались в детскую поликлинику, благо она была недалеко на Восточной улице. Но оказалось всё не так страшно – врач только намазал мне шею какой-то вонючей дурацкой мазью, и я неделю проходил с марлевой повязкой...

Куда, оказывается, было страшнее членовредительство, совершённое в трёхлетнем возрасте, о котором я совершенно ничего не помню, но которым до сих пор отмечен шрамом под губой. Тогда я умудрился, кушая, проткнуть себе вилкой нижнюю губу насквозь! И ничего-ничего не помню, но зато я ещё долго уже в сознательном возрасте, будучи абсолютным придурком, хвастливо показывал двойной шрам – спереди и внутри губы, выворачивая её перед обмирающей аудиторией.

Были и другие не менее замечательные позорные страницы моего босоногого детства. Я помню, как однажды – мне было лет пять – мама, месив тесто на кухне для вкуснейших пирожков с мясом, попросила меня принести одно яйцо из нашей комнаты. И я помчался выполнять это её задание, но, возвращаясь обратно на кухню и плохо вписавшись в поворот нашего коридора, я уронил его на пол. Мама ничего не сказала и велела принести другое. После третьего разбитого яйца, она прекратила месить тесто и пошла сама за яйцом. А я горевал страшно, что не смог выполнить порученного, и почему-то ни фига не было стыдно – я просто не понимал, что яйца были страшным дефицитом, и, чтоб их купить, мой несчастный папа порой простаивал по три часа в очереди в нашем подвальном продовольственном магазине.

В нашей комнате замечательно светит солнце, и в луче света величаво кружат невесомые пылинки. Но я этого не замечаю – я сплю, ибо сегодня воскресенье, и это единственный день, когда можно не идти в школу и выспаться. И тут сквозь этот счастливый покойный сон я вдруг с ужасом осознаю, что меня что-то будит, более того, я уже не сплю, я проснулся! Есть какой-то тревожащий фактор, который мешает продолжать пребывать в безмятежном беспомыслии.

Я с трудом разлепляю свои непослушные веки и вижу, что по комнате кругами ходит мой папа, монотонно ведя с кем-то беседу и при этом оживлённо жестикулируя. Но в комнате, кроме моего папы, больше никого нет, это он выделяет сам с собой, а точнее, с каким-то мысленным собеседником, пытаюсь ему что-то возразить и оспорить.

– Папа, ну, папа! – сержусь я в голос с досады.

Папа опоминается и замолкает, глядя на меня невидящими глазами. И я понимаю: это он воспользовался тем, что мама ушла, может, за хлебом или за манкой в наш магазин, а папа пытается оспорить роковое для себя решение начальника не рекомендовать его в аспирантуру. А про меня-то, про меня он забыл! Он не помнит, что я сплю.

Как же он старается доказать в мысленно-очном диалоге свою правоту, своё право на творчество! Его жжёт совершённая над ним самым обыкновенным образом человеческая несправедливость, ведь он столько работал в последнее время за копейки, столько потратил здоровья на вредные эксперименты – как же они это не учли? Ну почему я не достоин, я столько сделал для нашей ракетной военной промышленности. Столько испарений ядовитого ракетного топлива наглотался! А вы так просто говорите: «Нет, не время»?..

Я закрываю глаза и не успеваю толком заснуть, как в комнате вновь возобновляется нескончаемый диалог...

А ещё по вечерам я страшно любил разглядывать папины безопасные бритвенные лезвия, которые он хранил в отдельной большой коробочке. Периодически они с мамой их доставали по вечерам – я тогда не понимал, зачем, я думал, что это такое развлечение: разглядывать такие красивые блестящие тонкие полоски стали, завёрнутые во всевозможные красивые бумажки. Позднее я догадался, что они это делали из-за нашей страшной и тотальной нищеты. И не только нашей семьи, но и всей долбаной социалистической родины. Потому что эти лезвия были страшным дефицитом. Пострашней, чем яйца! И мой папа, работая скромным секретным инженером в КБ Доллежала, где все умники Советского Союза бились над изготовлением самой замечательной и передовой водородной бомбы, а он аккуратненько проводил эксперименты над различными образцами ядовитого ракетного топлива (ведь задача-то была не только залудить сотни водородных бомб для поголовного уничтожения всего человечества, но и доставить их ракетами на ту сторону земного шара), иногда имел «шикарную» возможность выклянчить у своего босса – даже не у Доллежала, а у какого-то ср...ного начальника отдела – одну-две упаковки замечательных шведских лезвий, которыми Доллежал в порыве партийной нежной заботы снабжал этого босса. О покупке лезвий в магазине не могло быть и речи! А тем более шведских! Брейся, сука позорная, опасной бритвой или ходи в парикмахерскую, если сам не умеешь! Мой папа старался быть интеллигентом и как-то стеснялся бриться опасной бритвой, с которой была куча возни, а упорно брился безопасным станком, но, увы, зато получал огромную проблему с доставанием лезвий. Вот он и клянчил периодически у своего босса, но тот же не мог ему одалживаться столь часто, как хотелось бы. Что бы подумал папин босс о моём папе? Что он бессовестный попрошайка? (Наверно, он так и думал.)

И вот папа с мамой, когда все новенькие лезвия, увы, подходили к концу, доставали ту самую дурацкую коробку и начинали внимательно разглядывать накопившиеся старые лезвия на предмет их затупленности – авось какие-либо затупились меньше и ими ещё можно попользоваться, пока дойдёт очередь до очередного выклянчивания новеньких лезвий у папиного начальства. Но я этого, малолетний придурок, тогда совершенно не понимал. Я наивно думал, что это такой акт любования неземной красотой и без колебания присоединился к процессу. Папа с мамой переглядывались, мама говорила: «Ну вот, сейчас он опять порежется», – и на очередном лезвии, которое я неосторожно поворачивал в своих нежных пальчиках, я действительно резался об острый край... Я начинал орать и плакать, потому что на этом месте акт любования красотой сразу заканчивался, и меня сначала перевязывали, а потом увлекли спать.

В конце концов, папина работа у лауреата Ленинской премии Доллежала добром не кончилась. И хотя сам Доллежал сладко спал, хорошо кушал и умер в глубокой старости в окружении всеобщей скорби, мой папа заработал на тех самых испытаниях рак и скончался в страшных мучениях, так и не дождавшись хоть какого-то слова благодарности от замечательного

лауреата Ленинской премии, не говоря уж об иных прочих умниках, светилах и руководителях партии и правительства.

Между прочим, это долбаное КБ Доллежаля располагалось в атмосфере абсолютной секретности на Красносельской улице. Я иногда заезжал на папину работу по каким-то бытовым надобностям, и за десять метров до проходной всех прохожих сшибал с ног сладчайший запах находившейся рядом кондитерской фабрики имени Бабаева. Так вот, папа категорически запрещал маме покупать какие-либо конфеты или печенье производства той замечательной фабрики, а я не мог понять, почему, пока уже в наши дни американцы не устроили страшный скандал нашей славной родине и не потребовали в ультимативном порядке установить над вентиляционной вытяжкой (это огромная квадратная труба) ядерного реактора, установленного для пользы Отечества академиком Доллежалем чуть ли не в центре Москвы, видный издали и со всех сторон счётчик Гейгера, который ежемгновенно показывает уровень радиации у того КБ и, естественно, у той прекрасной кондитерской фабрики. Это ж сколько советских граждан и сколько раз за все эти годы покушали тех самых радиационных конфет! Уму непостижимо! Интересно, а сам-то Доллежаль кушал их? А его родственнички? А, допустим, Гагарин с Валентиной Терешковой?

Между прочим, каким всё-таки замечательным был академик Доллежал! Ведь вот крупнейший в мире архив кинофильмов – Госфильмофонд – при его организации в 1947 году запиперили аж на 52-й километр Каширского шоссе, на станцию Белые Столбы: а вдруг случится пожар, плёнка загорится, это ж какой капец и угроза всему окружающему, находящемуся рядом с архивом! А вот какой-то ср...ный ядерный реактор мы не стесняемся строить в центре Москвы – Доллежал сразу прекрасно понял фишку: хозяева-то страны, все эти говьяные коммуняки, смотрят на всё окружающее, как на нечто временное, могущее пойти на всемирный слом, когда мы наконец затеем Третью мировую войну во имя торжества коммунизма во всём мире. Это ж сколько всего произойдёт тогда, сколько будет ядерных взрывов, бог знает где – чего тут думать о чём-то вечном или об улучшении жизни отдельно взятого советского гражданина, когда мы должны в первую очередь самым серьёзным образом готовиться к ядерной войне, вот после неё тогда-то мы и построим наконец всеобщее счастье! А пока ядерный реактор в центре Москвы поважнее всего остального – ведь это временно, всего на десять – пятнадцать ближайших лет, ну двадцать – тридцать, ну ведь не более. Это всё временно!

Чего уж там, ведь вон стоило нам во времена корейской войны побряцать ядерным оружием – мы только поугрожали им во имя спасения великого корейского народа, как сумасшедший американский генерал Макартур всерьёз начал строить планы нанесения первого ядерного удара по Владивостоку. И ведь ударил бы, если бы Конгресс США его не остановил. Ведь он был бы первым, а не мы! (Или мы?) Так что только потом будет всё постоянно. Вот потому-то Доллежал и помер временщиком, но академиком и Героем Советского Союза при всеобщем и полном уважении, а не Сахаров, который пострадал за своё непозволительное вольнодумство, что на самом деле для наших ср...ных вождей было нонсенсом, чудовищным бредом, несовместимым с философской и мировоззренческой позицией временщика.

Но самым большим для меня потрясением в детстве стало начало учёбы в школе. Мама с папой долго, мучительно выбирали её – им необходимо было как проклятым работать, бабушка к тому времени уже умерла, а дедушка совсем из ума выжил в свои-то 80 лет, вот и надо было найти школу, в которой я бы оставался как можно дольше, пока папа с мамой не придут с работы, ну разве только пару часиков ребёнок побудет дома наедине с безумным дедушкой.

И вот они нашли, наконец, замечательную 494-ю школу, бывшую Первую Пролетарскую, в который был так называемый продлённый день. Это же песня! Сначала все должны отучиться четыре – пять уроков, а потом учителя уходят домой, а мы, двадцать болванов, после обеда и прогулки по двору остаёмся наедине с какой-то бабой, которая на ходу спит, но считается, что

она помогает нам выполнять домашние задания на следующий день. Ну, Дима Колывакин сразу ронял свою авторучку под парту, лез за ней вниз и оставался там часа на полтора в поисках той ручки, лишь бы не видеть сонной дуры.

Мои родители накануне 1 сентября были взволнованы – полночи они собирали мне с таким большим трудом купленный в «Детском мире» школьный портфель. То не хватало всех тетрадок на объявленные четыре урока, то плохо уложены счётные палочки, то огромный букварь никак не хотел помещаться в этот дурацкий портфель, то портфель слишком тяжёл – как же его понесёт несчастный ребёнок, у него будет искривление позвоночника, ведь мы не сможем его встретить после уроков, мы будем на работе! (Ранцев-то ещё в продаже не было – их ещё не придумали делать для советских школьников!)

Я тоже плохо выспался, но был готов показать все свои знания и умения, я даже научился читать! И вот взволнованные папа-мама стоят со мной на первой школьной линейке, и я вдруг с ужасом замечаю, что мой портфель, как у самого последнего дурака, самый большой и тяжёлый, а некоторые – вообще пришли без портфеля. Но зато с цветами, а у меня цветов нет! Я не знаю, при чём тут цветы, но все с цветами! Мама бледнеет и краснеет, папа мчится до ближайшего цветочного магазина и на последние деньги покупает какие-то астры – наконец-то наш ребёнок такой же, как все!

Под какие-то фантастические аплодисменты мы, первоклашки, заходим в прекрасное здание, в свой класс, грудой сваливаем уже никому не нужные цветы на учительский стол, и... входит она, наша первая и самая любимая учительница Людмила Фёдоровна, и, к моему полному удивлению и обалдению, начинает не урок, нет, а начинает с нами разучивать хором какое-то в высшей степени идиотское стихотворение про Родину, первое сентября и всенародный праздник. Мы, как самые замечательные заср...цы, хором повторяем за ней, заучиваем его за полчаса, ещё пару разиков голосим самостоятельно для её всяческого удовольствия, и она нас торжественно отпускает на все четыре стороны в честь праздника! И я, как придурок, надрываясь, тащусь с тяжеленнейшим портфелем и появляюсь через час дома к удивлению моего любимого дедушки. (Вот были времена – мы, малолетки, запросто ходили в школу и из школы домой, иногда очень далеко, в самом бандитском районе Москвы, и никто ни за кого не боялся!)

И с этого дня начинается моя смертельная мука: с одной стороны, я жажду наполниться каким-то сокровенным знанием – и ради этого продолжаю надрываться, таская туда и обратно свой портфель, а с другой стороны, ровным счётом не происходит ничего примечательного, потому что первые полгода наша дражайшая Людмила Фёдоровна кладёт все свои силы на обучение болванов чтению, а я, умеющий уже это делать, просто изнываю от скуки и ничегонеделания на этом дурацком продлённом дне – меня, быстро поняв мои «выдающиеся» способности, она не трогает и ни о чём не спрашивает. Я хожу и тупо слушаю, как всякие Ивановы, Козловы и Петровы хором и неумело повторяют сто пять раз одну и ту же фразу из букваря следом за Людмилой Фёдоровной. Будь я поумнее, я бы подумал, что попал в какой-то страшный и кошмарный театр абсурда, но я такого не мог подумать, я просто изнывал от боли.

Учёба для меня начинается только со следующего полугодия, когда милейшая Людмила Фёдоровна принимается учить нас писать, и мы все достаём, наконец, из портфеля наши потрясные авторучки – это впервые в школьной практике, потому что до сего года все писали пёрышком, и на партах до сих пор стоят чернильницы-непроливашки, а кое-кто из придурков притащил-таки с собой эти пёрышки (даже моя мама купила один такой набор сдуру в августе), и вот я торжественно достаю свою запроваленную авторучку и тычу ею в сторону сидящей рядом со мной Лены Тополевой. Она смеётся и тоже тычет в меня своей авторучкой. И тогда я начинаю тыкать в неё с удвоенной силой и только под конец замечаю, что она, Лена, вся уделана мелкими капельками моих замечательных синих чернил, как какая-то бл...дь – спермой! Наверное, именно так и подумала Людмила Фёдоровна, потому что она молча подходит к нам,

прекращает наш дурацкий смех, берёт Лену за руку и уводит её из дверей на весь оставшийся день. Наверное, она велела кому-нибудь отвести несчастную Лену домой, но я этого так и не узнал, потому что на следующий день сияющая Лена, только в другом свитере под фартуком, вновь усаживается рядом со мной и – ни слова о вчерашнем.

Подлинным счастьем в этот тоскливый школьный период была только дача. Я не понимал почему, чувствовал, что это нечто принципиально иное, чем вся ср...ная палочно-социалистическая дисциплина, которой нас усердно давили в школе. Я ещё не знал и не понимал слова «свобода», но это была именно она!

Правда, поначалу летом папа-мама планировали отправить меня в обычный кондово-совковый пионерлагерь от папиного почтового ящика. Ведь у них могло быть только по месяцу отпуска, скажем, со мной в июле сидит на даче мама, а в августе – папа, но кто же будет сидеть с ребёнком в июне? Было принято безапелляционное решение послать меня в пионерлагерь.

И вот на электричке мы, сто болванов в каждом вагоне, весело едем одни в какой-то загадочный пионерлагерь. А с нами всего по два пионервожатых – справимся! Но пионерлагерь нас всех удивил ещё более палочной дисциплиной. Шок был громадный. Было такое впечатление, что всё время надо собираться на пионерлинейку, убирать территорию лагеря и сидеть в комнате отдыха – и ни минуты свободного времени, никакой беготни! Ни-ни!

Естественно, самые отчаянные, когда наступало десять часов вечера, и все пионервожатые уходили в клуб на танцы и обниманцы, начинали в нашей спальном комнате травить бесконечные анекдоты: про какашки и жопу, про е...лю парня с девочкой, про обоср...ного милиционера и прочие прелести. И это надо было делать по очереди! А значит, и мне надо было иметь парочку подобных анекдотов про запас! Мука была смертная. Меня прошибал холодный пот – а вдруг никто не рассмеётся моим убогим рассказом, и тогда что? Тёмная? И вот я жалким образом, блея от ужаса и отвращения, рассказываю про какие-то какашки, и все ржут – не над самим рассказом, а надо мной, жалким заср...цем, который уже наложил в штаны и обоср...ся, жалкий трус! Я изнываю от усталости, я прошу их прекратить, ведь завтра так рано вставать, но молодые жеребцы ещё громче смеются и грозятся не перестать до рассвета. Однажды я не выдерживаю и бегу в комнату к пионервожатому с жалобой. К своему полному удивлению, я застаю там не только его, Колю, но ещё и Борю с Машей! Они втроём раздражены моей идиотской выходкой. Нехотя они поднимаются с постели – в чём мама родила! – Коля натягивает трусы и идёт утихомиривать бандитов. Я потрясён и ошарашен!

Наконец спектакль закончен, все храпят, как сто слонов в джунглях, а я поднимаюсь в полной тишине (если это можно назвать тишиной!) и босиком иду в зас...ный туалет – по полу разлита моча по щиколотку, пьяный сантехник всё не удосуживается прочистить засор – и хлюпаю к унитазу, чтобы наконец справить свою нужду, ибо стесняюсь это делать вечером при всеобщем гвалте и хохоте. С мокрыми ногами я возвращаюсь обратно в спальню и засыпаю...

Шагать всем вместе и горланить идиотскую песню – это же здорово! Именно эта шагистика под песню производила самое сильное впечатление в том достопамятном пионерлагере. А в остальном – железобетонный режим с утра до вечера Подъём, линейка под барабан, уборка территории лагеря (каждый день с утра до обеда!). Строем в столовую, идиотские дежурства – по той же столовой, в Ленинской комнате, комнате совета дружины и чёрт знает где ещё. И только после «мёртвого» часа и полдника – два или три часа как бы свободного времени, нам разрешают позаниматься по кружкам: фото, планеризм, радио... Но ни в коем случае не болтаться без дела, ни-ни. Только в библиотеку за книжкой можно сходить. Всё иное – п...ц, непорядок. Занимайся организованно!

А если с утра светит солнце, и на этой ср...ной лагерной территории убирать уже нечего, то мы всем отрядом вместе с вожатым топаем на опушку леса и там до потери пульса разучиваем песню для общелагерного конкурса («Люди всего мира, встаньте! Слышите? Это разда-

ётся в Бухенвальде – погребальный звон, погребальный звон!..»), а потом играем в спортивные игры: дурацкий волейбол в кружок, например. Или в шахматы – вот то, что надо!

И вдруг ребята натываются на свежий окоп, всего 20 лет прошло после войны, и кругом рассыпаны патроны, ура! Сейчас насобираем и будем в костёр бросать! Строгий вожатый тут же пресекает все наши поползновения в корне: берёт найденные патроны, силой вскрывает их и аккуратно высыпает на землю порох – и ни слова о войне. Так, всё чепуха, ребята, обыденщина, вы только там поаккуратней, а то ещё найдёте какую-нибудь х...ню, которая как ё...нет! А ведь могли и мертвяков найти, но об этом никто не думал.

Вечером же футбол или кино драное – ни одно не запомнилось, разве что Чаплин...

И так до вечерней линейки. Изредка купания в реке. А по утрам – физзарядка. Беда наша, олухов царя небесного, заключалась в том, что мы хоть и стонали от этой оглупляющей всё муштры, но от нех...я делать втягивались в неё и даже очень скоро начинали чувствовать сласть. Послушность начинала нравиться, и мы уже были рады-радешеньки получить похвалу. Как просто из обыкновенного человека сделать холуя тоталитарной системы! И вот уже прямо с утра, едва продравши под звуки горна глаза, мы толпой бежим на зарядку под бодрые команды опухшего после вчерашнего бухла физрука и так же толпой организованно бежим сс...ть и ср...ть. А х...ле? Порядок есть порядок и даже красота. А ну-ка, живо подтерев газетой задницу, бегом укладывать аккуратненькие конвертики из простыни и одеяла на кровати!

И, насмотревшись на совковый порядок, на его лепоту, а особенно прочувствовав всю драгоценность роскошных подарков на торжественной линейке при закрытии лагеря лучшим (ну разумеется, «Песнь о буревице» Горького и прочая хрень для чтения юношеству), я, последний идиот в достойном ряду, на следующий год решил вые...ся. И на уже ожидавшийся вопрос пионервожатой: «Кто хочет быть звеньевым?» – вызвался первым. А никто и не возражал против. И вот я гордо хожу каждый день впереди звена на линейку, стою там впереди строя и гляжу преданными собачьими глазами на трибуну, где тонкая девочка Нина изображает из себя председателя пионерской дружины. И ещё покрикиваю на поднимающих до неба пыль своими мётлами членов звена. Удивительно, как меня не отколотили однажды ночью? Хотя ответ понятен: боялись. Покорность и послушность рожают боязнь. Младшего холуя перед старшим холуём. А ну его на х...й, будет ещё только хуже!

На заключительной линейке я, гордо и слегка волнуясь, ждал подарка за свою холуйскую преданность. Даже ногу выставил вперёд, чтоб сразу броситься бежать к трибуне, как услышу свою фамилию. Ждал – и не дождался! Весь отряд потом смеялся над моей понурой головой. Так ему и надо, сволочи! Вот же гадёныш, получил по заслугам? А на следующий день в электричке мне мой руководитель фотокружка, смеясь, уже всё объяснил:

– Да своим это всё раздадут, своим да детям всяких начальничков, а про тебя никто ничего не сказал, и х...ле тебе давать? Сказал бы своей вожатой, поклянчил у неё, и дали бы. Вот делов-то? Можно подумать, кому-то жалко этого говна!

Так мне впервые предметно показали, что слава и почёт, как и всё в этой ср...ной системе, должны быть организованы. К реальным заслугам, какими бы сволочными они ни были, эти объявленные и провозглашённые не имеют и не должны иметь никакого отношения. Всё должно решаться и определяться только сверху. На то начальники и поставлены.

На следующую смену, слава Богу, у меня уже никакого муцацкого желания не появлялось, более того, от разных огорчений и уныния я даже заболел – коклюшем, как сказал встревоженный врач, и, подозревая худшее, меня положили в медсанчасть, что располагалась аккуратно посередине лагеря.

Господи, я был потрясён – словно я попал в принципиально другой мир! Этот мир отличался от того только одним – в нём вообще отсутствовал *порядок*. Вставай во сколько хочешь, или, хошь, лежи целый день, убирать постель не надо, в столовую за едой ходить не надо – её

приносили! Три раза в день. Никаких линеек. Целыми днями слоняйся по комнатам и, если хочешь, читай книжки!

И я сделал ещё более удивительное открытие, связанное с моим соседом по палате. Звали его Генкой. Он лежал здесь до меня и с первого взгляда был абсолютно здоров. Целыми днями он слушал радио, читал всякую ерунду, благо библиотека была за стенкой, да смотрел в окно. И лишь когда, ближе к часу, в медпункте появлялась медсестра – толстушка Таня, он весь напрягался и начинал долго и мучительно кашлять. Кашлять ему явно не хотелось, но он сильно старался. Под конец он с рыком выхаркивал на салфеточку свою слюну с какими-то странными следами крови. И Таня брала эту салфетку, аккуратно сворачивала и с неизменным пением «Под крылом самолёта о чем-то поёт зелёное море тайги» уносила эту дрянь куда-то к начальству. Гена расслаблялся: вот видишь, всего и делов-то. А на следующее утро мы нехотя просыпались и смотрели в окно, где двести пятьдесят оболтусов в лёгком тумане по командам физрука дёргают руками и ногами.

– Вот дураки, – вздыхал Гена и начинал читать очередного Джека Лондона, коротая время до нового Таниного прихода. Собственно, кровяно харкнуть мог любой дурак, но почему-то все наши начальники, став взрослыми, не помнили об этом. Генка замечательно устроился, я уже через неделю выписался, а он так и остался в этой медсанчасти, став свободным мечтателем в запертом помещении.

Но однажды происходит страшное – как-то в «мёртвый» час Коля Родкин вдруг замечает, как я дрочу, и начинает при всех меня яростно поносить и выговаривать, что я бесстыжая рожа! А ведь сам спокойненько дрочит каждый день в кустах напротив Ленинской комнаты! Я переживаю настоящий душевный шок – по наивной дурачности я не знал, что это дурное, плохое дело. Я впервые в жизни буквально сгораю от стыда. Я не могу забыть позора до конца смены. И когда, наконец, возвращаюсь к скучающим по мне родителям, то заливаюсь слезами и отчаянно и непреклонно заявляю, что в пионерлагерь больше никогда в жизни не поеду. Мама на меня пристально смотрит, она пытается понять, в чём причина моей решительности, но ей этого не дано, и, чувствуя всю непреодолимость моего упрямства, она устало вздыхает и говорит папе:

– Ну что ж, Костя, придётся на следующий год ребёнка оставлять одного на даче...

И я рад и счастлив – дрочить там можно в любой момент и где угодно!

О, дача – это моё неопишное счастье, какое можно только представить в то беспросветное ср...ное советское детство!

На самом деле это так называемый садовый участок. Их, участки, советское правительство стало выдавать в массовом порядке советским трудящимся сразу после смерти Сталина, и вовсе не с думой о том, чтоб как-то качественно решить проблему досуга этих граждан, а по более банальной причине – в стране непрерывно страшный дефицит продовольствия, особенно не хватает овощей и фруктов. Так пусть эти плебеи, это быдло, само себя обеспечивает, дадим им бросовой земли, вот пусть они там и выращивают картошку с яблоками.

Такую установку и озвучила однажды на совещании партийная сука Фурцева, сказав, что в этих садах дозволяется выращивать плодово-ягодные растения, можно заводить огороды, для чего надо перекапывать землю, а вот строить там дома – ни-ни, разве только какие-либо навесы для хранения садового инвентаря, лопат там... На что кто-то в зале наконец не вытерпел и завопил:

– А у самой-то, небось, дача в Жуковке с тёплой ванной и телефоном и никаких навесов!

Фурцева осеклась, побелела, но что ей: ей сс... в глаза, а всё Божья роса! – она спокойно продолжила нести свою партийную ахинею дальше. Правда, маленькие садовые домики щитового типа строить на тех участках разрешили. Слава тому храбрецу-самоубийце, который пожертвовал собой во имя счастья трудового народа!

А дачами всё это убогое хозяйство начали называть, конечно, по образцу тех самых настоящих дач партийных бонз и всяких прикормленных академиков и артистов, которым эти дачи стали выдавать ещё в 1921 году в Кратово, с теми самыми телефонами и ванными, и где, конечно, никто не заставлял копать в земле и сажать яблони. Главное – будь беспрекословным холуём советской власти и будешь иметь все блага. Один мой добрый знакомый до сих пор имеет в наследстве от члена правительства дедушки такую дачу в Кратово с теми самыми телефонами и ванными и не нарадуется – сдаёт её каким-то кавказцам, а сам живёт на получаемые денежки беззаботно в Москве. Слава нашим сталинским дедушкам!

И вот в 1954 году, в год моего рождения, мама приходит домой и говорит потрясённому папе, что в её институте, называвшемся «Гипросельстрой», раздают участки, которые выделили Деревообрабатывающему комбинату – 3 (ДОК-3), потому что работяги на комбинате отказываются их получать. Ну их на х...й, е...ни до х...я, пользы ни х...я!

– Давай возьмём, – говорит мама.

А институт у неё был хитрый и уникальный. Он именно и состоял при ДОК-3, потому что главной его целью являлось проектирование и строительство исключительно дач для советских буржуев. Гипросельстрой! А вы подумали, домов для колхозников? Чёрта с два! Вот и проектировали, а ДОК сразу строил. Мечта академика Доллежала!

И вот мои папа-мама получают участок, на котором один сплошной лес, на станции Покровка Ленинградской железной дороги. Разумеется, его надо сплошь выкорчёвывать, а то как же, обидим партийную б...дь Фурцеву! Все мужчины окрест впрягаются в самодельные плуги-выкорчёватели и, надрывая свои последние инженерные силёнки, сплошь корчуют поляну. Уходит на это целый год. Папа оставляет на участке посередине только одну молодую ёлку, потому что в случае дождя укрыться негде – навес ещё построить не успели, а ёлка идеальна: спрятали меня там под лапником, а сами как-нибудь...

И мы ездим и в зной, и в дождь каждое воскресенье (в субботу ещё выходных не было) на переполненных допотопных электричках, в которых двери открываются вручную. Это очень удобно, потому что, если кто не понравился по ходу дела, открыл эту ср...ную дверь и выкинул заср...ца на х...й на полном ходу! А ещё надо было дожидаться этой электрички на вокзале, потому что ходили они не по расписанию, а как бог на душу положит. А желающих ехать – тьма. А папа-мама с маленьким ребёнком... И вот папа заранее замечал на платформе место, где будут двери, ориентируясь на рядом стоящую пустую электричку. Другая электричка подходила, народ жутко толкался – все норовили первыми пролезть в двери – папа героически бился, стремясь всех опередить и успеть занять хотя бы два места на лавке... Кончалось это тем, что он сталкивался с каким-нибудь здоровым мужиком и разбивал ему единственный китайский термос с горячим чаем... А поди купи термос в магазине – не пробовали? Мужик на нас смотрел зверем всю дорогу, я не мог вытерпеть её всю и где-то после Крюкова начал проситься писать. У мамы становились мокрыми глаза, и наконец, она не выдерживала и выскакивала со мной и папой на станции Поварово, благо электричка имела обыкновение стоять на таких платформах по несколько минут. Я заканчивал писать, электричка начинала медленно трогаться, папа хватался за дверную ручку, а тот злой мужик с разбитым термосом выглядывал в дверное окно и зажимал изо всех сил дверную ручку, препятствуя моему бедному папе эту проклятую дверь открыть! И электричка медленно уезжала от нас, а мы целый час ждали другую на этой станции Поварово... Ужас!

Но вот мы в Покровке, в непролазной грязи, потому что, конечно, партия и правительство выделяет всем из милости под сады только непригодные к сельскому хозяйству земли – одна сплошная глина, которая липнет пудовыми гирями к ногам. Папа вздыхает и сажает меня к себе на шею, и мы ковыляем два километра мимо каких-то грузовиков к себе на участок.

О счастье, что мамин термос остался цел и невредим, и мы его довели до нашего участка! Папа достаёт бутерброды, и мы кушаем и пьём горячий обжигающий чай, наслаждаясь после московской вони свежим, удивительно ароматным воздухом...

И вот мои дорогие папа-мама, надрываясь, стараются построить на этом участке хоть какой-никакой домик. А для этого и денег вечно не хватает, и доски негде купить... Их просто не продают – такого в помине нет! Надо идти в профком этого ср...ного ДОК-3 и клянчить о выделении фондов на следующий год – и под фондами подразумевались вовсе не доски, которых на этом ДОКе было хоть жопой ешь, нет! Под фондами подразумевались доски б/у, то есть уже использованные, как тот старый латаный гандон, – комбинат иногда разбирает окрест бараки и прочую рухлядь, и вот надо было дожидаться, звонить, узнавать, приезжать вовремя, перебирать в пыли и грязи имеющееся гнильё и выкупать его у того же комбината. Советское безотходное производство! Жри своё собственное говно, сколько хочешь!

Спустя десять лет мой героический папа наконец худо-бедно построил этот домик и даже вставил в него оконные рамы, для чего целый месяц бродил вокруг Ленинской слободы, высматривая бараки на снос и устремляясь к ним, чтобы первым успеть выломать уже никому не нужные оконные рамы и на своём собственном горбу привезти их к нам на нашу дачу...

Тут-то я и заявил, что уже больше ни в какой пионерский лагерь не поеду. И папа-мама оставляют меня одного на участке, доверяя ключи от дома и сарая и даже разрешив пользоваться керогазом для разогрева пищи! Правда, они берут с меня страшную клятву, что со мной ничего не случится, что я не буду далеко уезжать на велосипеде от дома, что я не буду водить табун друзей на участок, что я... дожусь их на следующий день, потому что они с папой решили, что будут по очереди каждый второй день приезжать ко мне вечером после работы – ну, чтобы привезти продуктов, посмотреть там, а утром рано уехать на работу. Это же так просто! Бедные папа-мама... Но я ничего этого не замечаю, я ликую, я один – сам себе хозяин! И никто надо мной не будет издеваться, я могу делать, что захочу: читать до одури книги, ездить на велосипеде, жрать, когда захочется. Ура!

В первый же день с утра, едва проснувшись, я замечаю подозрительную толпу, стоящую возле моей запертой калитки. Мама дорогая, да это Ирка Луканина, Вовка Пиндерский, Танька, Гера. Они все припёрлись ко мне, потому что в условиях абсолютной бесконтрольности как же нехило ему, а мы тут уже заждались, пока этот заср...нец проснётся.

– Давай, открывай! – орут они.

Я медлю, и тогда нетерпеливая Ирка просто пролезает всей своей худобой под калиткой и, опа, уже здесь! Делать нечего, я открываю калитку, и мы садимся резаться в карты до самого обеда...

Но вообще-то вечера проходят просто прекрасно: Сашкина старшая сестра соблазняет всех играть по очереди в штандер, вышибалы и прятки.

– Гера! – орёт она и бросает замечательный кожаный мяч вверх. Пока Гера его не поймает и не крикнет «Штандер!», надо убежать как можно дальше, а то он выбьет тебя мячом и придётся водить.

– Прятки! – все опять разбегаются, и Вовка с Танькой убегают аж на соседнюю улицу. Пока Саша Золотов их отчаянно ищет, Вовка подбивает Таньку содрать с себя платье и переодевается в него. Оно ярко-красное и видно издали.

– Танька, выходи! – орёт Золотов.

– Обознатушки-перепрятушки! – орёт в ответ Пиндерский, а Танька в одних трусах скачет вокруг него и визжит от восторга. Мы потрясены и ошарашены их бесстыдством.

Но советские кретины останутся крестинами навсегда. Умнице Оле Поляковой скучно в окружении лоботрясов и отчаянных картёжников, и она, с подачи своего папы, активиста дачного масштаба, предлагает нам всем заняться общественно-полезным делом:

– А давайте каждое утро рано-рано ездить на станцию на велосипедах к тамошнему газетному киоску и покупать несколько десятков экземпляров «Правды», «Труда», «Комсомолки» и прочих газет и развозить по улицам, продавать, чтоб народ имел возможность читать их не только в Москве, но и здесь, а то ведь всё равно наши посылают за газетами на станцию, а там порой они кончаются, а так всё будет здорово.

И мы заряжаемся дежурить, по очереди, как идиоты, встаём в семь утра, ездим и в дождь, и в холод. Игорёк Потоцкий однажды не выдерживает из-за грязи и дождя и посылает меня куда подальше – газет из-за непогоды не привезли, они опаздывают, но я героически еду второй раз и привожу их в одиночку. Однажды толпа у киоска чуть не бьёт нам в морду – ведь мы же скупаем практически все газеты!

Так продолжается всё замечательное лето, и вдруг осенью ко мне в школу приходит Борис Андреич Шерешев, наш председатель, с коробкой шоколадного зефира и при всём потрясённом классе вручает её мне за проявленную летом высокую общественную активность. Все, включая учительницу, ох...ют до предела. «Бывают же на свете такие дураки!» – наверное, думают они. А Борис Андреич ничего больше не рассказывает (для всех так и остаётся загадкой, в чём же была моя общественная активность), хватает под руку училку – вероятно, sprиснуть это замечательное дело портвешком в учительской, а мы дружно жрём этот зефир, который кончается удивительно быстро.

В другой раз Оля Полякова выдумывает похлеще: она предлагает жить на даче, как в пионерском отряде. Мы опять все ох...ем от высоты полёта Олиной мысли, но тащимся до ближайшего леса, валим какую-то осину, несём её, надрываясь, к себе на улицу и вкапываем столбом посередине, прямо напротив Танькиного дома. Застенчивая девочка Вера, дочка папы-баптиста, приносит всем самодельные пионерские галстуки, и мы утром проводим пионерскую линейку, как в том ср...ном пионерском лагере. Вера меня вызывает к флагштоку, и я, как последний пионерский мудель, помогаю взвиться ввысь бордовой тряпке, которую самолично купил накануне в местном сельпо у станции, собрав у всех по гривеннику.

Но недолго музыка играла! Танькин отец под предлогом того, что ему этот флагшток мешает завезти машину навоза на участок, аккуратно вырывает его из земли через пару дней, а мы уже не возвращаемся к этой безумной затее.

Больше в голову Оли Поляковой ничего общественно-полезного не приходит, и мы занимаемся более человеческим времяпрепровождением: вечером жжём костры и травим у них различные байки, изредка всей толпой ходим в кино в местный деревенский клуб у станции, где сеанс стоит всего пять копеек. И всё бы ничего, мы успеваем пересмотреть кучу всяких фильмов, как вдруг в этот ср...ный клуб привозят какой-то иностранный детектив. Мы заранее занимаем очередь, потому что ясно – на всех билетов не хватит. И тут вдруг у кассы появляется местный Фафа с братом, они спокойно идут вдоль очереди и, ни слова не говоря, молча бьют кулаком в рожу всем дачникам, не разбирая, мальчишка перед ними или девчонка. Мы сс...м, боимся дать сдачи, и просто катимся кубарем со ступенек, и разбегаемся, куда глаза глядят, под смех и улюлюканье местных деревенских... В кино больше не ходим. Но и о произошедшем предпочитаем никому не распространяться...

После окончания школы и нашего успешного поступления в различные институты мой одноклассник Саша Манилин предлагает встретиться тесной компанией у Лёшки Колотова, благо его родители, это ж надо, повезло человеку, работают в ночную смену – значит, мы будем одни, и нам никто не помешает! Мы обзваниваем одноклассников, но не всех, а только милых нашему сердцу – ну, конечно, зовём Шамиля, Ирку Лабазову, её подружку Таньку Занозову, Дину Коган. И вместе собираемся ещё зазвать Ленку Антонову с Мариной Лопатиной. Едем к ним всей компанией на метро в Тёплый Стан, но не застаём их дома.

Раздосадованный Шамиль бежит до ближайшего гастронома и покупает пару бутылок замечательного портвейна, и мы, смеясь, давим его по очереди из горлышка в подъезде у Лопатиной...

По дороге назад Таньку Занозову укачивает в метро, и стоит нам выйти на Белорусской, она отчаянно блюёт в близлежащем палисаднике. Манилин подталкивает меня в спину: ну, иди, иди, чего встал, сейчас ей станет легче...

И вот мы заваливаемся к Лёшке на квартиру. Красота! Шикарная двухкомнатная квартира, по которой можно просто бродить, не стесняясь. Мне, ограниченному болвану, живущему с родителями в одной маленькой комнате коммунальной квартиры в невообразимой тесноте, даже в голову не приходит, что малогабаритная двушка – *полное говно* по сравнению с тем, что имеют некоторые люди и всякие приклатнённые коммуняки, которым ср...ть на нас, быдло, хотелось сто раз!

Ну что же нам делать поздним вечером? Мы не находим ничего лучшего, чем врубить магнитофон и начать танцевать. Я танцевать не умею и дико стесняюсь, как на всех школьных вечерах, – я, как скала, сижу на диване. Мне дико хочется танцевать только с Ирккой Лабазовой, а она по очереди танцует то с Манилиным, то с Лёшей. Дина то и дело остаётся сидеть в кресле. Ребята ржут. Я набираюсь, наконец, смелости и беру Ирку за руку – и танцую с ней, совсем теряя свою голову от волнения, едва переминаясь с ноги на ногу и не в силах связать и двух слов. А Дина упорно сидит в кресле и смотрит набычившись. Переминаясь с ноги на ногу в коллективной танцульке её совершенно не прельщает. Но я этого не замечаю и не понимаю. Я всё-таки станцевал с Ирккой Лабазовой, ура! Я нащупал у неё под платьем резинку на трусах – это была именно она, резинка! Неожиданно Дина встаёт и совершенно спокойным голосом говорит, что ей пора домой, что она устала, тем более что ей здесь через дорогу. А мы её и не задерживаем. С грустными глазами она уходит.

И спустя минуту Манилин вдруг подходит ко мне и заговорщицки говорит:

– Слушай, надо бы добавить... Давай, сгоняй в магазин, купи какого-нибудь портвейна.

И протягивает мне пять рублей.

На улице уже десять часов вечера, мне дико не хочется уходить от Лабазовой, чьи глаза лукаво блестят в темноте, но я исполняюсь какого-то ср...ного долга и выбегаю на улицу. Все магазины уже закрыты. Единственная возможность – добежать до площади Восстания, там работает ночной гастроном до одиннадцати. Ловить такси нечего и думать – денег нет, трамваи уже практически не ходят. И я бегу, не переводя дух и не останавливаясь. Удивительно – я добежал за десять минут.

Я вбегаю в практически пустой магазин и бросаюсь в винный отдел. Там нет ничего хорошего, во всяком случае, на пять рублей. Дешёвого нет ничего, никакого «Солнцедара». И я покупаю какое-то сладчайшее армянское десертное вино и мчусь назад практически бегом, несмотря на подгибающиеся ноги.

Звоню в дверь, мне открывает чем-то недовольный Манилин. И тут меня словно бьют обухом по голове. Моя любовь, моя дrolечка, лапушка и голубушка (как я называл её, обливаясь слезами, перед тем как заснуть) откровенно и беззастенчиво обнимается с Колотовым. И, судя по её томному виду, кажется, они только что целовались! И тут я соображаю – да ведь они меня специально заслали в магазин, дав деньги, чтоб остаться пара на пару! Поэтому Манилин и был так недоволен. Я – полный идиот! Я проср...л своё счастье! Да ещё, оказывается, эту козу можно запросто лапать и ставить засосы! Ей это нормально, даже с каким-то Колотовым, всё пох...ю! Так чего ж я терялся?!

Вино пить так никто и не стал. Скоро бабы засобирались домой – ха, я всё разрушил! Я покидаю квартиру, как обоср...ный.

Но самое удивительное, что от произошедшего я не стал любить Лабазову меньше. Вот такое я говно! Как ни в чём не бывало я опять ей позвонил и опять звал в какое-то кино и в театры, и она снова со мной туда шла и даже снова брала меня под руку – отчего я млел, как полный остолоп.

Всё эти наши отношения с ней были полной пародией! Я влюбился в неё решительно в девятом классе, когда часть моих одноклассников куда-то испарилась, потому что учиться в девятый, а значит, потом получить среднее образование, не всех брали – был вот такой отсев, о котором я ни капли не задумывался, но, наверно, некоторые мамы пролили кучу слёз, когда им безжалостные учителя объявляли, что мы вашего-вашу не возьмём, пусть учится в техникуме или ПТУ.

И наш 8 «в» слили с 8 «б», стали мы все из «б»!

До этого было переглядывание и перебрасывание записочками с Ирой Петровой. И она себя, небось, ещё год назад чувствовала просто королевной, а тут пришла 1 сентября – ба, а все мальчики бегают уже за другими красотками. Ира Петрова после школы не поступила в институт и пошла в медицинское училище, а с такой казалось невозможным продолжать отношения. Среди разного хлама я тут недавно нашёл её последнее письмо той поры. Видно – девушка очень старалась и тщательно всё продумывала. Она начала: «Дорогой мой товарищ Витя...» А в конце не удержалась и закончила: «Мне так грустно порой, так одиноко, так хочется тебя увидеть порой...» Но я был полный идиот, я не понял, что после таких слов можно просто приехать и е...ать её с песней без лишнего... Я был увлечён с головой Лабазовой, я – безмозглый нецелованный идиот! И Петрова сгинула в омуте времени без всякого последнего прости...

Придя в девятый и увидев это рыжее золото, я подумал, что эта тихая, скромная, загадочно улыбающаяся, мне как раз и подходит. Я мучительно и долго её обхаживал, а она только, как от муки, улыбалась в ответ на все мои тошнотные заходы. Я даже не догадывался, что у неё могла быть своя история страданий, даже не обращал внимания на загадочно лыбящегося Шамиля, жившего с ней в одном подъезде. А эта коза, оказывается, всю школьную жизнь тихо страдала от его невнимания, даром, что он был сыном дворничихи!

Я так и не решился с ней хоть раз потанцевать на выпускном, а по его завершению тихо провожал до дома всё ту же Ирку Петрову и Ленку Пенкину – вот так, двоих. Было холодно майским утром, и они засунули по одной своей ладошке ко мне с двух сторон в брючные карманы. Что они там искали? Нашли ли?

И вот моя любовь к Лабазовой распустилась пышным цветом после школы. Она, наверно, не знала, как отбиться от моих назойливых телячьих приставаний!

Моя пришибленность проистекала из того, что я был слишком правильным мальчиком периода строительства коммунизма и истово верил во всю эту гнетуще-приторную чепуху. Когда живёшь в скотских условиях, всегда кажется, что, ну вот должен же быть на свете кто-то, кто может и должен о тебе позаботиться, чтоб тебе стало хорошо и вообще наступило полное счастье. Сначала этот кто-то воплощается в милой родной маме, которая тебя холит и лелеет, заботится о тебе, просто любит нежно и тепло, а папа в это время где-то носится, выполняя загадочные ответственные задания семьи и вовсе не выступает в этой роли.

Кстати, однажды мой папа по заданию мамы пошёл поздно вечером в магазин купить рыбы. Поясняю для идиотов, что для чахоточной технической советской интеллигенции мясо по 2 рубля килограмм зачастую было дороговато, а вот та же треска по 65 копеек за кило – это было здорово. Вообще рыба была ощутимо дешевле и не менее сытной, чем поганое мясо, всё в костях и жилах! Но где её, рыбу, купить? У нас в подвале – одна вечная перцовка и какие-то шматки того ср...ного мяса. Чтоб купить вожделенную рыбу, требовалось куда-то ехать – в рыбный магазин. А их было не так уж много в Москве. И почему рыба была вообще дешевле – это параноидальная загадка советской экономики почище существования ассирий-

цев-чистильщиков обуви на улицах! Разумеется, это был просто хитрожопый пропагандистский трюк советской власти, который давал неплохие результаты, поскольку рыба была всегда, и дешёвая, но в меньшем количестве магазинов.

Так вот, проходит два часа, а папы нет – мама начинает волноваться. Проходит три, папы нет, проходит четыре – уже двенадцатый час ночи! И тут на пороге появляется мой замечательный, сияющий от счастья папа, но вместо авоськи с рыбой у него в руках огромный рулон шерстяного ковра стоимостью порядка трёх сотен рублей! Сказать, что мама была потрясена – это не сказать ничего.

Счастливым папа, тяжело отдуваясь, начинает рассказывать:

– Выйдя на улицу, я коротко подумал и решил не связываться с местными близлежащими гастрономами, а поехал сразу в центр на улицу Горького в магазин «Рыба» номер один, что напротив Елисейевского магазина. А день у нас сегодня – последний в месяце, 31 октября. Выхожу из метро на Проспекте Маркса и думаю, а дай я зайду в «Подарки», там же могут что-нибудь выбросить под конец-то месяца. Захожу. И вдруг вижу – начинает у меня на глазах строиться очередь в отделе «Ткани». И я тут же подскакиваю в хвост: «Что дают?» И мне отвечают: «А ковры вот неожиданно привезли, никогда раньше здесь такого и не продавали». А что за ковры? «А вы посмотрите, висит». Смотрю – 283 рубля. И ковёр просто шикарный, для такого размера дешёвый, а главное, не надо записываться в очередь и ждать три года открытки – просто фантастически повезло! Но у меня в кармане всего три рубля. Что делать? Домой не успею, и поэтому я не стал даже тебе звонить, милая. Хорошо, что у меня с собой сберкнижка была...

Тут мама чуть не подпрыгнула на месте:

– Какая сберкнижка? – пролепетала она.

– Да у меня есть сберкнижка, и на ней небольшие деньги, – затараторил папа. – Я смотрю, люди выбирают ковры, их разворачивают, сворачивают... и тут заведующий говорит: «Пока все ковры не продадим, магазин не закроется». Смотрю на часы – я успеваю в сберкассу. Я тогда договариваюсь в очереди и договариваюсь на входе, чтоб меня назад пустили, а то в магазин уже перестали пускать. И мигом бегу до сберкассы, снимаю, сколько нужно, и возвращаюсь, и мне пришлось ещё час прождать. И вот смотри, красивый? Я думаю, как раз то, что нужно, – мы повесим его вот на эту стенку, и он будет до потолка, и нам совершенно не будет слышно соседей, а у нас тут сын спит, и будет всё хорошо. А рыба, ну что рыба, ну куплю её завтра...

Вообще, хоть мой папа вечно зарабатывал меньше мамы, он действительно каким-то образом всегда накапливал на сберкнижке определённую сумму денег втайне от мамы. Может, он откладывал с премий за многочисленные секретные испытания ракетного топлива? В определённом возрасте все дети начинают копаться во всевозможных местах дома, рассчитывая найти какие-либо тайники или удивительные вещи. Типа того, как я в первом классе, заглянув с великим трудом за шкаф, нашёл там, как мне показалось, странные женские туфли, которые имели под каблуком какую-то длинную подставку. Еле-еле вытащив их на свет божий, я примерил туфли на своей ноге – да в них совершенно невозможно ходить, это какая-то нелепость! Когда мама пришла с работы, я показал ей свою находку, и она, смущённо рассмеявшись, сказала:

– Сынуля, я в них ходила, когда тебя ещё на свете не было, так было модно, все девушки ходили, да и сейчас ходят... А мне теперь это делать вес не позволяет.

– Так зачем же ты их хранишь?

– Это воспоминание, память сердца, понимаешь?..

И вот теперь, с огромным усилием вытащив ящики письменного стола прочь, я нашёл тайник, где лежали папины сберкнижки. Вечером была замечательная семейная сцена, но папа доказал маме, что он не собирался ничего от неё скрывать, а копил только на пользу – всё в дом, всё в дом.

В один прекрасный день к нам, наконец, пришла почтовая открытка, которую папа с мамой оставляли в магазине в Кожухово в очереди за холодильником – какой достанется, тот и купите, предупреждали их. И было это два года назад! Как до этого сохраняли советские люди продукты непорченными, не имея никакого подпола, я понятия не имел. Только чуть позже те же Тузовы, у которых холодильника не было, смеясь, обратили моё внимание на странные ящики, расположенные на стенах домов рядом с окнами, – вот тебе, б...дь, советский холодильник, жри свои кислые щи с душком или зелёную колбасу, желудки-то крепкие. А ящик помогает защищать кастрюли от солнца. Уже значительно позже один мой знакомый, сынок бывшего номенклатурного работника, показал мне в сталинской высотке, где он жил, тоже своеобразный, самый лучший сталинский холодильник 50-х годов. Это был небольшой шкаф с плотными стальными дверцами, полностью утопленный в толщенной стене этой сталинской высотки на кухне. Шкаф реально сохранял прохладу для тех самых кислых щей!

И вот спустя два года (шёл 1963 год) надо было срочно выкупать холодильник – открытка неумолимо говорила, что это надо сделать завтра, просто чудо, что она пришла вовремя. А если бы у папы не было бы тайной сберкнижки? Где бы мы взяли деньги? Ведь денег в ту пору ни у кого из наших знакомых и родственничков не было – зарплаты советских инженеров были меньше 100 рублей, а тут вынь да положь сразу 150. Представляю, как некоторые несчастные заламывали руки и голосили, вдруг осознавая, что к завтрашнему дню им 150 рублей не достать. Советское государство о-о-о-очень заботилось о благе тружеников – никаких кредитов и в помине не существовало. Правда, люди не дураки, не хотели пропадать ради этого б...ского режима за медный грош, – везде были придуманы «чёрные» кассы (это нелегально), а профкомы вынужденно объявили о создании касс взаимопомощи, где ценой унижения можно было одновременно получить 100 рублей на месяц, не больше. «Чёрная» касса могла дать и больше, но это было нелегальное сборище сослуживцев, и она брала процент, как нормальный ростовщик. Хотя, удивительно, все знали о существовании «чёрных» касс, но никто их не преследовал (вот тебе и показатель всей глубины государственного лицемерия).

И вот мы с папой торжественно отправились под вечер в магазин – мама осталась дома ждать долгожданную вещь, «чтоб подготовить место». Пришли мы и спокойно себе купили холодильник «Ока», словно мы это делали каждый день – да говно вопрос... Но тут на нас свалилось то, чего мы никак не ожидали: а как теперь эту здоровенную и тяжеленную металлическую вещь принести домой? – магазин вовсе не собирался нам помогать в этом. Вот, б...дь, идите в замечательную организацию «Трансагентство» у метро, заключайте с ними договор, и они, глядишь, через три дня приедут по указанному вами адресу и доставят вещь куда угодно. А что, холодильник всё это время будет стоять в магазине? Да вы что, гражданин, ох...ли или порядков не знаете? Вы купили холодильник? Он ваш на законном основании, нам до него теперь дела нет – вот вытаскивайте его немедленно на улицу (грузчики магазина вам в этом помогут – это их прямая обязанность) и сторожите его днём и ночью до потери пульса, пока это «Трансагентство» не приедет.

Никогда я ещё не видел более обескураженного папу... Но погодите, козы морды! Русский человек не сдаётся – моего любимого папу так просто не остановишь, пусть хоть что. Папа просто проконтролировал, пока этот холодильник, облепленный бумагой и берёзовыми брусками, не вытащили из магазина, поставил меня рядом с ним, а сам пошёл ловить машину. Но нужно было поймать не просто такси, которое не смогло бы этот предмет уложить к себе в багажник, нужна была грузовая машина. Вы представляете себе, при пустынных московских улицах 60-х годов, когда каждая редко встречающаяся машина везёт что-то очень важное на какой-нибудь е...чий государственный склад, каково это – поймать пустой грузовик, водила которого, несмотря на свой путевой лист, рискнёт отклониться от маршрута и согласится помочь подбросить холодильник куда-то в сторону? Да уволят его мигом с автобазы, если автоинспектор засечёт это безобразие! И вот в этих совершенно нереальных, безумных

условиях мой папа оказался на высоте: и десяти минут не прошло, как уже ГАЗ, не полностью гружённый какими-то тюками, заворачивал к магазину. И мой папа с посмеивающимся водилой и грузчиком, согласившимся подсобить за рупь, уже легко укладывали наше долгожданное счастье в кузов.

Поехали с песней. Но она быстро оборвалась – случилось то, чего и надо было бояться: на площади перед метро мы неправильно развернулись, и нас тут же тормознули. У водилы чуть слёзы на глазах не выступили, он буквально посерел и стал похож на виноватую собаку. Однако тут случилось чудо: весь в белом милиционер начал было орать и проверять все бумаги, но поняв, в чём дело (да вот, я вызвался помочь товарищу – ну он очень меня просил, а я здесь знаков не знаю, гражданин начальник...), только ехидно рассмеялся и сказал:

– Ну, ладно, сейчас завезём этот холодильник, а потом ты меня за это до отделения подкинешь, и я никаких протоколов составлять не буду.

Это был тот редчайший случай в совке, когда к обычным человеческим бедам мужик при погонах отнёсся по-людски. И даже денег с нас не взял.

Водила был рад-радёшенек:

– Да боже ж мой, да со всем моим удовольствием!

Мы водрузили холодильник у себя в комнате – ура, уже не надо будет что-либо из продуктов вывешивать в авоське за окном! Мама просто светилась неземной радостью. Наш холодильник (и это стало самым удивительным в жизни) ни разу не ломался и прослужил нам тридцать лет, пока я его, в абсолютно исправном состоянии, не вынес на помойку – увы, уже пришёл век новых холодильников из Финляндии.

А через тройку лет случилось практически то же самое. Папа огорошил маму, что нам пора купить мебельный гарнитур, а не жить среди разного хлама.

– Да как ты себе это представляешь? Мало того, что нужно семьсот-восемьсот рублей, сумма совершенно неподъёмная, но мы ведь даже никаких открыток не оставляли в магазине, а там просто так ничего не продаётся!

– Надя, дорогая, деньги у меня есть, а я тут, к тому же, разведал один вариант.

– Ну-ну, – несколько обиженно сказала мама, но ругаться не стала, – давай посмотрим на твой вариант.

– Завтра увидишь, – уверенность папы граничила с доблестью римского воина, бросающегося на меч.

На следующий день я не пошёл в школу, а мы прямо в шесть часов утра поехали в магазин «Мебель» всё в том же Кожухово.

Жизнь в те времена была похожа на лотерею. Оказывается, как раз в этот день (магазин открывался в девять – мы ждали под дверьми два с лишним часа) в магазин внезапно завезли три румынских гарнитура (предел мечтаний любого советского человека) без открыток. Но нас с папой опередило с приходом под двери магазина аккуратно три человека (сто пудов – этих трёх человек заведующий накануне специально предупредил по телефону), нам не могло ничего достаться. И тут, о невероятная удача: перед продажей гарнитуров, оказывается, их обязаны распаковать, чтоб проверить комплектность (все ли детали на месте?) и состояние (не повреждено ли что-нибудь?). И вот на наших глазах рабочие, аккуратно всё распаковывая, представили первым двум счастливицам абсолютно хорошую вещь, а в процессе распаковки третьего гарнитура работяга неловко поддел досочку своим ломиком и проделал здоровенную глубокую царапину на серванте.

– Я не буду это брать, – разочарованно протянул третий бластной покупатель.

Я не мог поверить в нашу удачу (думаю, и папа тоже) – нам достался, пусть повреждённый, но хороший, покрытый блестящий мебельным лаком румынский гарнитур! Ну, дальше, правда, начались обычные мучения: сначала надо было прождать несколько часов, прежде чем

в магазине нашёлся человек, который замазал ту царапину какой-то тягучей дрянью, и составили акт, что мой папа к состоянию гарнитура претензий не имеет (при этом папа дико нервничал, раз пять бегал к директору магазина – видно, боялся, что ему под каким-нибудь предлогом не продадут повреждённый товар), потом ещё часа четыре мы ждали мебельную машину. Здесь была разница по сравнению с холодильником – оказывается, в случае мебели магазин обязан был гарантировать доставку крупногабаритных вещей. Но! Машина у магазина была одна, хоть это и был роскошный мебельный фургон. И пока она обслужила всех блатных и вчерашних, наступил вечер. Может, нам снова повезло, и команда мебельного фургона к концу дня не нажралась водки до упаду, или просто сжалилась над убогим советским инженером и его малолетним сыном. В общем, к шести часам вечера потрясённая мама увидела гарнитур стоящим у нас в комнате. Папа не подвёл, не обманул. Слава советским магазинам, иногда снисходительно относящимся к нашим нуждам!

Никогда ещё в жизни я не ел более вкусной куриной лапши, приготовленной мамой, не будь её, я мог бы, наверное, съесть что-нибудь и из гарнитура – я голодал целый день, но это было для пользы дела, для семейного счастья...

Вообще, самым важным моим отличием от всех остальных одноклассников было то, что я никогда, ни одного дня не ходил в детский сад. А они все ходили! И с малых лет прекрасно впитали в себя основы палочной дисциплины, поэтому в школе были уже легко управляемы – не надо было тратить каких-то сверхусилий на дальнейшее оболванивание и формирование в них послушности. А мои папа-мама по каким-то непонятным соображениям решили меня в детский сад не отдавать, а отдать на руки малограмотным и забитым бабушке-дедушке. И произошло чудо! Благодаря этому, во мне хоть мало-мальски сформировались ощущения вольницы, самостоятельности и свободы. Бегай, куда захочешь. Обедай, когда проголодаешься. Читай, что захочешь. Думай, о чём угодно. Удивительно. Может, маме-папе не хватало денег на детский сад (ведь за него надо было платить!), может, совершенно случайно им показалось, что дома мне будет спокойней, но вот не ходил я в детский сад, и всё тут!

Правда, за это в нашем замечательном совке я расплачивался всю жизнь. Начать с того, что мои замечательные одноклассники сразу сообразили про моё уродство и не преминули отыграться на нём по полной. Как, этот идиот не знает, что нельзя доверять воспитателю, что надо прикидываться, что всё, чему учат, это всё х...ня полная? Слушайте, да он всё принимает за чистую монету! Он спешит что-то узнать из этих б...ских учебников и думает, что там записана какая-то правда? Они презирали меня за то, что я был слишком правильным, и совершенно искренно. Они-то уже знали, что кругом – ложь!

Как можно было что-то серьёзно учить про великую революцию, про стройки коммунизма, про целину, если сегодня тебя фотографируют с Людмилой Фёдоровной под портретом дедушки Хрущёва, висящим над грифельной доской, а через месяц та же Людмила Фёдоровна боится повторить все те добрые слова, которые она говорила про этого пердуна перед фотографированием. Если тебе раздают учебник правописания, в котором на самом видном месте пропись «Сталинград – самый красивый город на Волге», и тебя тут же училка предупреждает, что эта строчка ошибочная, потому что ещё несколько месяцев назад этот ср...ный город переименовали в Волгоград, поскольку Сталин оказался очень нехорошим человеком. Тебя приводят в первом классе в школьную столовую и говорят, что это предмет гордости, потому что никогда прежде в школе не то что столовых, а даже буфетов не было. И больше шести часов уроков подряд все ходили страшно голодными, потому что негде было даже кусочек хлеба куснуть, а теперь зато государство заботится о школьниках. Но через год любимая Людмила Фёдоровна перед очередным обедом заводит всех в класс и в атмосфере строжайшей тайны нам, второклассникам, объясняет: в стране, к сожалению, не хватает хлеба, и поэтому, хоть на столе и стоит полное блюдо кусочков чёрного, но каждый из нас должен брать не больше

двух за обед, а то хлеба на всех не хватит. Все потрясены, а я не понимаю ничего, потому что дома у меня лежит хлеб, и мама никого не ограничивает, сколько от него отрезать. А тут что-то непонятное!

Когда вечером я встречаю Тузовых, мы идём втроём в крошечной темноте по Ленинской Слободе, и ветер весело треплет приклеенные к стендам газеты с одним и тем же сообщением о новой победе советской науки – только что запустили в космос Николаева и Поповича. Групповой полёт! Витя Тузов, которому всего девять лет, приближается к одному из стендов и зло срывает газетное полотнище:

– И ты что, серьёзно думаешь, что у нас скоро будет построен этот ср...ный коммунизм? И всё будет бесплатно, и жратвы будет вдоволь, и у всех будет машина?

Младший Вова подхихикивает:

– Да, б...дь, никогда этого не будет! Этого просто быть не может! Как можно этой х... не верить?

Конечно, они наверняка повторяли слышанные домашние разговоры, но я был смущён изрядно. Людмила Фёдоровна так заманчиво и столько раз расписывала нам эти удивительные вещи, так сладко и приятно... Я не могу понять, но мне в этот момент тоже начинает не вериться. Ну как же так! Ну, ведь взрослые так серьёзно нам всё это рассказывают. Такие обещания! И... враньё?

Вскоре я узнаю о потрясающей вещи, к которой приговорён каждый парень нашего класса. Как-то на перемене мой друг Сашка Поликарпов подсакивает возбуждённым и говорит:

– Слушай! А ты знаешь, что Ленка Тополева даёт себя полапать и даже делает вид, что ничего не происходит?!

Я обалдело выговариваю:

– А что это такое? Я никогда не делал.

Сашка смотрит на меня как на дебила и снисходительно отвечает:

– Ты чего, не знаешь? Это когда ты протягиваешь руку и шупаешь у девчонки её п...ду – это же интересно!

Про п...ду я уже кое-что знаю – на даче хромой Володя Новичков однажды, сделав сальное лицо, начал меня пытаться: «А ты знаешь, что у всех девчонок есть одно тайное место? А ты знаешь, что оно на букву П? А ты знаешь что-нибудь про эту пещеру? Это на самом деле пиписка, только у нас она, сам знаешь, какая, а у них она другая – такая дырка. И вообще это не пещера, а п...да между ног, и из неё у них рождаются дети, когда их туда еб...т!» В то лето эта информация так меня озадачила, что, когда вскоре на дачу приехала моя двоюродная сестра Катя, я, проснувшись утром, предложил ей показать друг другу пиписки. «Давай ты сначала покажи», – предложила Катя. Я не заставил себя упрашивать и гордо выставил свой писюн из-под одеяла: «А теперь ты». И Катя, действительно, показала мне маленькую узкую щель между ног! Сказать, что я был потрясён, ничего не сказать. Оказывается, болтун Вовка не соврал!

И вот теперь Сашка Поликарпов предлагает мне зримо и воочию осязать этот странный орган у Ленки Соболевой. Я несколько смущён и блею что-то невнятное: «А когда? А как это? Да и где эта Ленка Соболева?» – на что Сашка говорит нетерпеливо:

– Да вон она стоит у окна, нас ждёт – я ей сказал, что мы подойдём. Ты просто о чём-то заговори, а сам протяни как бы между делом руку и пощупай у неё под платьем!

Мы подходим, заговариваем о какой-то чепухе, и сначала Сашка делает выпад рукой, а потом, осмелев, и я. От быстроты и краткости соприкосновения я ничего не чувствую, кроме плотности тела. Ленка же даже не прерывает разговор, только несколько странно улыбается и краснеет. Признаться, меня страшно заёб...ет двусмысленность ситуации, и становится даже как-то стыдно и неловко. Я сразу теряю к этому интерес.

Зато в моих одноклассников словно вселяется дьявол. Лапанье одноклассниц становится повальным и тотальным. Только Люськи Власовой, круглой пятёрочки, живущей в моём же подъезде, это не касается. Она остервенело отбивается портфелем, кричит во всё горло: «Дурак!» – и из-за этого лапать её противно и неинтересно. Да и что взять с круглой отличницы! Другие же одноклассницы просто превращаются в каких-то мартышек. От назойливых рук они со смехом уворачиваются, подпрыгивают или сами дёргают мальчишек за их пиписки. Эта игра продолжается непрерывно: мы идём из класса в класс, с этажа на этаж, растянувшись вереницей, а парням это только и надо.

Наша Людмила Фёдоровна ничего не замечает. Или делает вид, что ничего не замечает – ни одного замечания! Потрясающе. Девчонки и дружба с ними теряют в моих глазах абсолютно всё – это же просто какие-то б...ди, смотри, да им нравится! Дело кончается тем, что гордый Сашка Поликарпов хвастает мне, что перелапал уже абсолютно всех и даже договорился с Надей Сидоровой, что по окончании учёбы в конце мая она ему обязательно даст выеб...ть себя где-нибудь в укромном углу. Я не могу в это поверить. Тогда он приглашает меня пойти вместе с ними после школы домой и просит Надю подтвердить достигнутую договорённость. И Надька, нимало не стеснясь, объявляет мне:

– Да, мы с Сашкой договорились – вот летом встретимся, разденемся, и он меня выеб...т, потому что я знаю, как это делается, и вообще это очень приятно. Так что потерпи немного.

Сашка смотрит на меня торжествующе, и ещё битых полчаса, пока мы идём до его дома, он спрашивает Надьку о разных подробностях, и она только бубнит:

– Да, я к тебе приду, и ты меня вые...шь, и всё будет хорошо, и никто не узнает, и нечего нам бояться!

Внезапно летом мы переезжаем с мамой-папой на другую квартиру, мне приходится перейти в другую школу и не дожидаться этого замечательного момента.

А за год до этого я в первый раз еду на юг. В жизни я ещё никуда не ездил, всё на даче сидел, и мне, обычному совковому уроду, даже в голову не приходило, что можно куда-то поехать, хоть на другой конец света! А в это время мой будущий одноклассник Саша Полуянов, или попросту Лунь, уже второй год сидел на Кипре, где работали его родители, и запросто встречался с Гагариным, который приехал порадовать киприотов своей персоной. И Гагарин ему написал какую-то глупость на фотокарточке. Наверное, она так и затерялась впоследствии, потому что Лунь её везде таскал с собой, разве что жопу не подтирал ею.

И вот моя бедная мама после десяти лет беспросветной жизни решается убедить папу, что ей очень хочется съездить к Чёрному морю, потому что она не отдыхала у моря вечность.

– Ну ведь ты же каждый год по профсоюзной путёвке едешь бесплатно в Эссентуки лечить свою язву!

Папа страшно озадачен: его попрекают язвой, от которой он погибает. Ну, что делать? Денег ведь всё равно нет – всей семьёй не поедешь! А мама продолжает ныть:

– Ну, вот на работе впервые предлагают за тридцать процентов поехать в санаторий, раньше всё начальники хапали эти дешёвые путёвки на юг, а теперь вдруг мне выпал счастливый билет...

И папа вздыхает, но выдвигает одно условие:

– Хорошо, я отпущу тебя одну на юг... без меня... но только если ты возьмёшь с собой нашего сына – ведь он вообще никогда не был на юге.

Мама на миг обалдела – ведь идёт ранняя весна – март-месяц, я хожу в школу, как же я поеду? Но мама не была бы мамой, она идёт в школу и умоляет Людмилу Фёдоровну сделать для меня, круглого отличника, исключение: разрешить в течение месяца не ходить в школу – ну он всё наверстает! Да ведь мы должны проходить умножение и деление столбиком, это крайне сложный предмет! Ну, он на лету всё схватывает, он всё нагонит. И уговаривает ещё

завуча и директора – те должны нас прикрыть и не сообщать в РОНО о моих прогулах. Для всех проверяющих я буду болеть. Это риск, но моя мама просто вся в слезах...

И вот мы садимся в поезд – не в электричку! – я впервые в жизни еду в спальном вагоне! Я открываю для себя, что, оказывается, весь вагон разделён на такие вот купе, где есть четыре дивана, вверху и внизу, и на них мы будем спать ночью. Вот это да! Отправка задерживается – какой-то вагон сломался, ещё не тронувшись с места, и к нам поделяют какую-то тётку из того вагона.

Я взял с собой фотоаппарат – папа в последний момент сюрпризом купил нам в поездку дешёвенькую «Смену-2» и даже торопливо показал и объяснил, как она устроена, как заряжается плёнка, как определяется выдержка и дальность. Правда, я так и не понял, для чего нужна диафрагма, если уже есть выдержка. Зачем открывать объектив то меньше, то больше? Мама мне рассказывает, что папа у нас был когда-то заядлым фотографом и снимал таким смешным фотоаппаратом с гармошкой на пластинки. И даже фотографировал, как они когда-то сами с мамой отдыхали на юге в свой медовый месяц... Для меня это звучит совершенно непонятно: какой-то медовый месяц, папа, оказывается снимал вот эти фотографии... И на них мама заядло играет в волейбол! Просто невероятно! И они вдвоём с папой обнимаются, улыбаются. Погодите, а кто же в таком случае их в это время фотографировал? И папа держит за руку маму... А сейчас они то и дело только переругиваются друг с другом, папа ходит всё время мрачный и угрюмый и как-то неловко улыбается...

Я примерно знаю, почему – я вижу, как мучительно по утрам они торгуются из-за пятидесяти копеек, которые папа просит маму выдать на обед. Столько же стоит голубь на Конном рынке, и Тузовы подбивают меня выгрести хотя бы по 10 копеек из папиных карманов, и таким образом за пять дней накопить на голубя. Но я смотрю на папу и не решаюсь лазить в его пиджаке и брюках...

Но как бы то ни было, мы едем с мамой на юг, ура! Она говорит, что там страшно тепло – как летом у нас в Покровке. Я не могу поверить, ведь в Москве до сих пор лежит снег...

И вот мы приезжаем в совершенно фантастический край под названием Хоста: это всё действительно ни на что не похоже! – пальмы, солнце, загадочное необъятное море, толпы народа, которые почему-то в марте не работают, а шляются по санаториям! Какой-то пахнущий по-другому воздух и непонятный фрукт инжир, про который мама начинает мне что-то торопливо объяснять, но я не могу понять ни слова. Хочется просто попробовать, но он, оказывается, ещё не созрел.

Главное открытие: я не один. Я отказываюсь понимать, откуда все эти толпы мальчишек и девчонок, и почему они не ходят в школу. Но я ещё слишком маленький урод, чтобы засматриваться на девчонок.

То ли будет, когда через года три мы вновь с мамой поедem на юг и на сей раз в Ливадию в Крыму – в этот бывший царский дворец, ставший санаторием, который совершенно спокойно и цинично продолжал зас...аться рабочими и крестьянами со всего Советского Союза. Именно там я встречу свою первую любовь, которой на тот момент будет всего десять лет...

В Ливадию я приехал уже опытным человеком: я уже знал, что мы с мамой пойдём прямиком к заведующему и будем с мокрыми глазами кланяться для меня какое-нибудь жильё подешевле – денег ведь в карманах с гулькин х...й, а кровать для диких лохов в любой ср...ной дыре здесь стоит не меньше трёх рублей! Но мама уже научена опытом Хосты – там ей с середины срока подсказали, что можно избежать обдирания трёх шкур какими-нибудь алкоголиками, а пойти к начальству и выцыганить что-нибудь подешевле. Оказывается, при каждом начальстве есть прикормленные – это всякие родственники, которые сдают дешевле, потому что им сплавляют отдыхающих в первую очередь. Там всё перенаселено, там яблоку негде упасть, но крайне выгодно: можно в одной комнате поселить трёх-четырёх маленьких детей-заср...цев, с которыми матери приезжают отдохнуть, и оптом всё равно получается больше! А

главное, матери не жалуются – у них получается вволю времени побл...вать: этих санаторных родственничков можно попросить и накормить нас всяким говном, и уложить спать вечером без мамы, которая где-нибудь в кустах в это время дуплится по полной программе.

И вот я с триумфом поселяюсь – где бы вы думали? – в бывшей царской конюшне! Там, где когда-то сутками напролёт ср...ли царские рысаки, сейчас совком устроены роскошные коммунальные квартиры для трудяг, которые нашли понятный выход из нужды: сдавать все эти разгороженные стойла для таких засс...х, как я. Кстати, когда я лет десять назад случайно заезжал в Ливадию, я, спустя сорок лет после тех памятных событий, увидел, что эта конюшня по-прежнему на своём месте, и в ней по-прежнему живут люди! У нас феноменальное государство. Почему бы туда вместе с людьми вновь лошадей не вселить, просто непонятно.

Но это всё ерунда! Я поселился. Какой-то ветхозаветный старичок, ветеран Гражданской войны, как мне трепетно пояснили, указал мне койку. А вечером то и произошло: я уже спал, когда в комнате бесцеремонно зажгли лампу и в сопровождении громкого шёпота на соседнюю кровать уложили уже сонное десятилетнее существо, приехавшее с матушкой отдыхать из Киева. Я спросонок даже толком и не разобрал, что оно из себя представляет.

Утром по обыкновению оно дулось за завтраком, но через час всё стремительно переменялось: наши мамы пришли за нами, – они, оказывается, уже познакомились! – и мы пошли на пляж. Я достал предмет своей гордости – плавки, которые на самом деле были на взрослого человека и которые мы купили из-под полы (страшный дефицит!) ещё в Хосте, а она достала обыкновенные девчачьи трусы. И тут мы познакомились. Её звали Оля, и она оказалась очень весёлой девчонкой! Мы переоделись и побежали к морю, и стали плескаться, бултыхаться и нырять понарошку на мелководье – плавать-то ещё не умели.

Нам очень понравилось становиться напротив друг друга и одновременно нырять, плывя под водой до сближения, цепляясь при этом за камни на дне. И тут я увидел её фантастически припухшие соски на смешной детской груди и совсем обалдел, потому что я уже дрочил вовсю и потому что такой красоты воочию, при оптическом увеличении, производимом коварной морской водой, я ещё не видел! Оля смеялась и хохотала от восторга – она и не подозревала, глупенькая, какое впечатление на меня производит. Ей просто понравилось нырять одновременно вместе со мной... И мы ныряли до посинения. Просто уже зуб на зуб не попадал. А наши мамы сидели и болтали, болтали и болтали – о чём-то о своём.

Этим же вечером я получил другое, не менее потрясное впечатление – в сумерках, когда мы ложились спать, я разделся первым и нырнул под одеяло, и в этом не было ничего такого, а потом Оля, стесняясь, погасила свет, содрала с себя платье, и я увидел её голенькой, не в купальных, а в повседневных трусиках, и это было очень эротично! И этой ночью я по привычке начал дрочить, и вдруг, к полному моему удивлению, у меня между ног изверглась какая-то жидкость – впервые за год неустанной работы. Я был потрясён и напуган одновременно – но даже и в мыслях не было, что случилось что-то не так или что я заболел. Инстинктивно я понимал, что так и должно быть!

Мой роман продолжался всё оставшееся время – наверное, Оля даже начала о чём-то догадываться. Но, увы, он так и не развился до чего-либо. За три дня до нашего отъезда мама Оли простудилась и слегла с высокой температурой. Мы с моей мамой стояли на санаторной площади и ждали автобуса, который должен был отвезти нас до Ялты, а там – троллейбус до Симферополя. Стояли и откровенно скучали. Всё кругом уже надоело. И вдруг! Откуда ни возьмись появилась моя Оля! Она подбежала к нам и залепетала:

– Меня мама отпустила с вами попрощаться – мы ведь больше не увидимся, потом уезжаем к себе в Киев...

Я смотрел на неё и цепенел. Меня, идиота, заклинило. Я-то понимал, что она ко мне прибежала – это было слишком очевидно, сто пудов! И мне отчаянно жалко было её терять, так же, как и ей меня. Ну, попроси ты у неё адрес, скотина! И она напишет тебе его! А я молчал,

сучка поднебесная, потому что уже точно понимал: я к ней в ближайшие годы не приеду, это абсолютно невозможно, и она – ко мне, и мы больше, несмотря ни на какой адрес, больше никогда не увидимся. И у меня не нашлось даже каких-то тёплых, романтических слов для моей любимой. Я, сука, не сумел ничего ей сказать. Набычился, как полный идиот!

Моя мама ничего не замечала, а Оля ещё немного подождала (моих несказанных слов!), потом повернулась и, не дождавшись автобуса, спокойно пошла... И даже не оглянулась! Напрасно я выворачивал шею, пытаюсь ухватить последний мимолётный момент – она тихо пропала. Навсегда. О, как я проклинал себя ещё много лет! Как я дрочил на неё безостановочно!

Но события в жизни мелькали и затмевали одно другое. Той же осенью папа внезапно предложил маме поехать в Ленинград – надо же вывозить парня посмотреть небывалые архитектурные красоты!

Целыми вечерами папа и мама что-то строго обсуждали и что-то делили. Решено было, что мы поедem на ноябрьские праздники, когда по календарному совпадению вместе с праздниками выпадают на отдых и выходные – четыре календарных дня.

Я впервые узнал, что у нас, оказывается, существуют не только деревенские родственники где-то в Тверской и Ярославской областях, но есть ещё и какой-то двоюродный папин брат в Ленинграде, который, впрочем, вовсе ему и не брат, а у того есть дочь, то есть мне троюродная сестра, которая всего на два года младше меня! Что же касается её папы, то есть моего дяди и папиного двоюродного брата, то история там вообще была страшно загадочная. Потому что оказалось, что до войны в Ленинграде у папы жила самая настоящая тётка, которая умерла в блокаду. Но родители её, на удивление, выжили. И тогда они взяли на воспитание и усыновили какого-то мальчика от соседей, которые нормально так себе жили и нормально так пережили блокаду, но почему-то от сына отказались, а отдали его вот этим папиным родственникам на усыновление. Я ничего понять не мог. Но мало того, от той тётки, оказывается, остался маленький ребёнок – мальчик, которого почему-то вместо того, чтобы отдать на воспитание папиным родственникам, то есть его бабушке с бабушкой, сдали в детский дом, и он там так и затерялся.

Мой папа, к моему полному удивлению, полжизни старался его найти, всё писал письма в разные инстанции, и, представьте себе, к моменту нашей предполагавшейся поездки в Ленинград он нашёлся! Жил совершенно один, написал нам какое-то трогательное письмо, и вот теперь папа намеревался с ним повстречаться и ужасно волновался, и переживал – потому что никогда его не видел, и потому что не знал, как обо всём об этом, с учётом запутанности ситуации, сказать своему псевдо-двоюродному брату.

Однако для простоты ситуации папа строго-настрого предупредил меня, что мы едем в Ленинград, и дядя Толя, или Анатолий Иванович Вилин, – реально его двоюродный брат, и чтоб я не наворачивал там. Что он псевдо. В общем, я изрядно запутался.

Билетов, как водится, достать на ночной поезд было невозможно. И папа купил нам всем билеты на дневной поезд, который приходил в Ленинград аж в десять часов вечера. По этому поводу почему-то никто особенно не тревожился. Более того, папа легкомысленно решил, что мы поедem прямо сразу к его новоявленному законному двоюродному брату, который жил где-то в центре города, а уж на следующий день поедem к дяде Толе, потому что они жили в переполненной двухкомнатной квартире аж за чертой города, на станции Фарфоровская. И вот мои родители дали телеграмму этому найденному двоюродному брату – прямо накануне посадки в поезд, и мы с чистой совестью двинулись на вокзал и замечательно поехали дневным поездом.

Был вечер 7 ноября. Понятное дело, когда мы выбрались, наконец, из поезда и вышли на привокзальную площадь, весь город гулял. Вообще-то я подобной гульбы никогда не наблюдал,

в том смысле, что обычно мы уезжали на праздники на дачу, и я и не подозревал, что подобное происходит в покинутом городе. А тут воочию толпы пьяных, орущих невесть что. И все ждали салюта, как пояснил папа.

Мы были уже порядком измотаны дорогой, о чём родители почему-то тоже не подумали. И нас, ясен перец, никто не встречал – папа не догадался просить об этом новоявленного кузена. В общем, пришлось папочке подхватить два тяжёлых чемодана, отчего его всего пере-косило, и мы поплелись на угол Невского, как пояснила мне мама, чтобы сесть на автобус, который ехал прямо до Зимнего дворца. Где-то там рядом и жил этот кузен. Папа бормотал, что ничего страшного, что ехать вот тут очень близко, так что сейчас мы, уже совсем скоро, доберёмся до кровати.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.